

КОММЕНТАРИИ

Основная часть рукописных материалов к «Подростку» содержится в трех тетрадах, которые хранятся в ЦГАЛИ. Две из них (первая и третья) переплетены. В них — около 450 страниц. Во второй, непереплетенной, тетради, сшитой, очевидно, уже после заполнения, — 68 страниц. В Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина находится 59 страниц (на разрозненных листах почтовой бумаги); там же — 12 страниц на больших листах обыкновенной писчей бумаги; строки прижаты друг к другу очень тесно, исписаны мельчайшим почерком. Если прибавить сюда одинокий, исписанный со всех сторон, листок почтовой бумаги, хранящийся в Пушкинском Доме, то всего черновики этой, еще не связанной редакции, немногим меньше 600 авторских страниц.

Как только мы приступили к детальному изучению этого огромного чернового материала, перед нами сразу возникли те исключительные трудности, которые в большей или меньшей степени известны каждому, кто имел дело с рукописями Достоевского. Только в одной (первой) из двух переплетенных тетрадей, и то лишь в первой ее половине, записи идут в последовательном порядке, более или менее точно датированные. Они относятся к самой первой стадии работы: зарождения замысла и составления первых планов, когда сюжетный стержень еще крайне гибок, окончательный сюжет он напоминает еще весьма отдаленно, взаимоотношения между героями, едва-едва намеченные, резко колеблются, присутствует целый ряд лиц, которые потом исчезают.

Первые наброски к роману появляются приблизительно в феврале 1874 г., еще до ухода автора из «Гражданина», и вначале их очень мало.

Настоящая работа над планом начинается только с июня 1874 г. Достоевский находился тогда в Эмсе. С ним была, по всей вероятности, тетрадь, условно называемая нами первой. Работалось вяло, и Достоевский пока еще более или менее аккуратно, хронологически последовательно размещает свои записи. Так продолжалось до возвращения в Старую Руссу, в августе, когда работа пошла уже весьма интенсивно, со всеми присущими Достоевскому особенностями, которые так затрудняют исследователя, останавливающегося перед целым рядом, казалось бы, неразрешимых вопросов: когда была сделана та или другая недатированная запись? Что к чему относится? Над чем шла главная работа: над сюжетом? над характерами героев? над их взглядами, убеждениями? Создается иногда впечатление, точно писатель беспорядочно заносит свои заметки то в одну, то в другую тетрадь, то на какой-нибудь отдельный листок.

Затруднения увеличиваются еще оттого, что пагинация, даже в тетрадях, принадлежит не автору и делает он сплошь и рядом свои записи не в обычном порядке, от первой страницы к последней, а наоборот. Записи, казалось бы, логически между собою тесно связанные, разделяют промежуточные чистые листы иногда в несколько десятков страниц — точно писатель делал записи в тетради на любом случайном месте. Место это могло быть частью заполнено счетами по изданиям, адресами разных лиц, старыми заметками о темах для «Гражданина» и т. п.; подводится под всем этим посторонним материалом черта, и начинается разработка какого-нибудь сюжетного мотива, характера того или другого персонажа или идеи, в нем воплощаемой.

Еще более затрудняют работу текстолога записи по так называемым «гнездам», когда вдруг обрываются связующие событийно-сюжетные линии и идут сплошь характеристики, крайне сложные, действующих лиц, их философские рассуждения, а за ними словечки, анекдоты, остроты, выражения, диалектизмы, из которых многие потом используются как специфические речевые особенности героев. Порою казалось, что положительно невозможно разобраться в этом чудовищном хаосе, и мы чуть не склонились к тому, чтобы печатать наши материалы по способу опубликованных ранее «Записных тетрадей» к «Бесам» — преподнести читателю тот же «беспорядок», какой существует в черновиках; иными словами: вместо роли редактора ограничиться ролью честного переписчика. На этот легкий выход из положения мы все-таки не решились. Мы пришли к выводу, что материалы — при всей их хаотичности — по содержанию, по подавляющему большинству записей в той или иной тетради, все же поддаются распределению прежде всего по следующим двум большим категориям: 1) черновые записи *до начала печатания* романа (они находятся, в основном, в первых двух тетрадях) и 2) записи *в период печатания* (в третьей тетради и на разрозненных листах).

К *первой категории* относятся записи двух первых стадий работы: *первой* стадии — ее можно бы назвать синкретической, — когда в воображении художника возникают самые разнообразные планы, из которых после долгих и упорных трудов начинают

лишь медленно выделяться первые основные узлы сюжета; второй стадии, — когда намечается уже более или менее ясно некое приближение к окончательному сюжету, улавливаются кое-где и некоторые композиционные принципы.

В записях второй категории идет уже разработка тех или других глав непосредственно или незадолго перед тем, как приступить к окончательной редакции, которую автор обязан отправлять в журнал к точно определенному сроку. Но это в самых общих чертах.

Более детально черновые материалы мы размещаем по следующим шести разделам, из которых первые три озаглавлены нами в какой-то мере условно: 1) первоначальные наброски к роману; 2) первый период работы над сюжетом; 3) второй период работы над сюжетом. В следующих трех разделах, объединяемых под общим заглавием «Третий период работы над сюжетом», записи сделаны уже непосредственно к каждой из трех частей романа. Они-то и поддаются датировке прежде всего в связи с тем, что сроки представления рукописи для печатания в том или другом номере журнала были «сакраментально» определены. Записи к первым пяти главам, напечатанным в январской книжке «Отечественных записок» за 1875 год, составлялись, безусловно, не позднее первой половины декабря 1874 г. Записи к последним пяти главам первой части, помещенным в февральском номере журнала за тот же год, должны быть отнесены к январю 1875 г. В феврале и марте 1875 г. делались записи к первым четырем главам второй части; в апреле — к главам V—IX. Летом 1875 г. работа происходила во второй половине июля и первой половине августа — тогда делались записи к первым четырем главам третьей части; во второй половине сентября и первой половине октября — к главам V—VIII той же части; в конце октября и первой половине ноября — к последним главам — к окончанию романа. Деление это отнюдь не претендует на абсолютную точность: не подлежит сомнению, что были случаи, когда та или другая глава какой-нибудь части романа, не получив к моменту отправления рукописи в редакцию окончательного завершения, откладывалась до следующего номера, в то время как черновые записи к ней были уже сделаны, но в основном деление это все же правильно и при распределении материала, если отсутствуют более точные датировки, является достаточно надежным ориентировочным принципом.

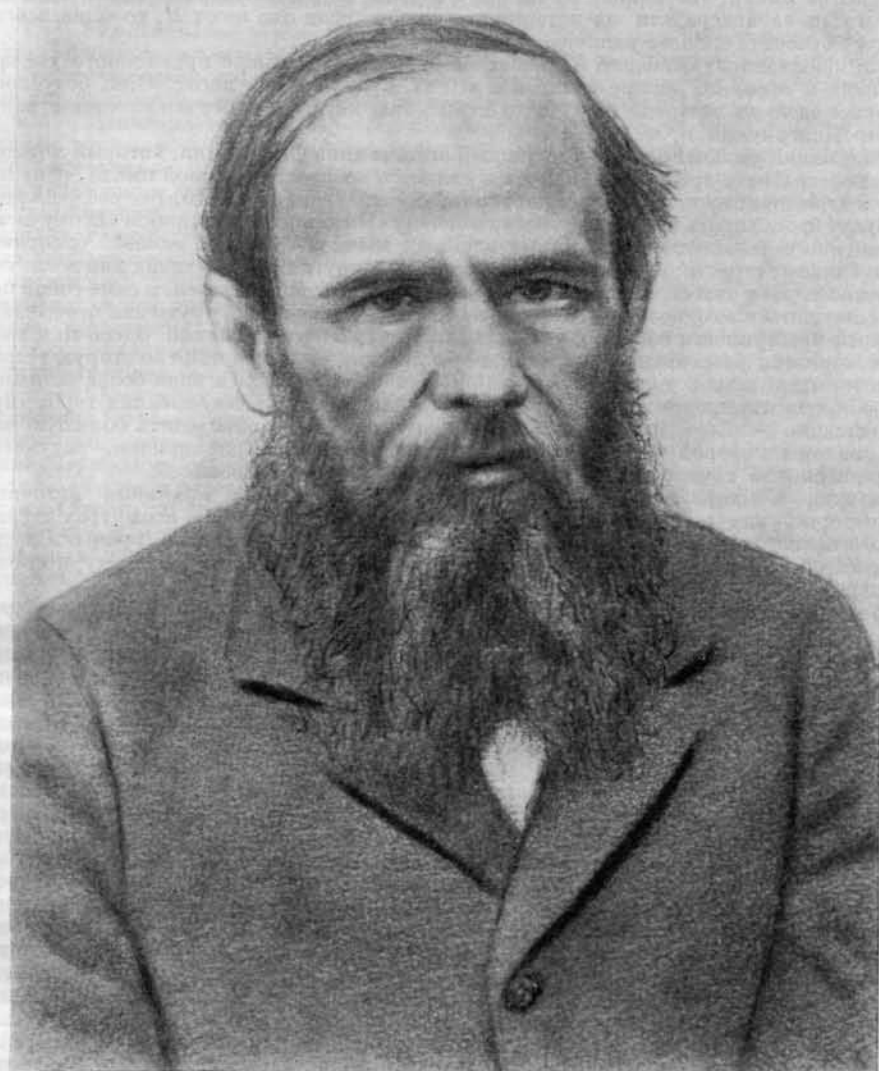
Гораздо сложнее с черновыми записями первой категории (в первых двух тетрадах), составляющими больше одной трети всех наших материалов. Поскольку перед нами — первая стадия работы Достоевского, мы, по-видимому, полностью во власти авторской фантазии, не поддающейся никаким сдерживающим нормам, и в случае отсутствия точных датировок мы, казалось бы, лишены каких бы то ни было опорных пунктов. Детальное изучение записей указывает, однако, выход и из этого крайне затруднительного положения.

Несколько основных моментов намечаются нами в начальном строении сюжета, все более и более осложняющегося по мере приближения его к сюжету окончательной печатной редакции. Они устанавливаются, в основном, в зависимости от характера и роли каждого из будущих действующих лиц, как бы слабо они ни были еще очерчены, а также от момента первого появления лица, и если оно по дороге к окончательному сюжету исчезает, то и от момента его исчезновения.

В самом начале предполагалось, что в романе будут в роли центральных героев три брата: один — атеист, «хищный тип», образ, идущий от Ставрогина, «Он», будущий Версиков; другой — «фанатик», учитель или воспитатель детей, Федор Федорович, «весь — вера»; третий — новая сила, «будущее поколение» — будущий Подросток, в начале еще мальчак. Почти одновременно с ними тремя появляются, тоже для центральной роли, страдалица мать или мачеха и ее не то дочь, не то падчерица — девочка 13 лет, Лиза. Это, как видно по некоторым датам на черновых записях, — самый первый план романа, составлявшийся в течение мая и июня 1874 г.

Около 10 июля (ориентируемся на запись от 11 июля) первоначальный план начинает резко меняться: «ГЕРОЙ не ОН, а МАЛЬЧИК» — читаем мы запись, сделанную крупным почерком. Он, разумеется, — будущий Версиков — «только аксессуар, но какой зато аксессуар!», т. е. роль у него будет по-прежнему большая и весьма ответственная, но уже не главная. И тут же «мальчик» превращается уже в Подростка: рядом записи очень крупно — ПОДРОСТОК. Средний же брат, «социалист, фанатик», перестает вовсе играть какую-нибудь роль; о нем через много страниц встретится лишь одно совершенно случайное упоминание, уже вне всякой связи с той ролью «просветителя» и «деятеля», в которой он мыслился раньше, точно герой давно уже «выпал из строя» и всплыл в памяти художника как бы нечаянно, по какой-то неуловимой ассоциации. Это и обязывает нас датировать не позднее чем 10—11 июля все страницы в первой и, отчасти, во второй тетради, там, где имеются более или менее подробные записи о Федоре Федоровиче, в которых он занимает место, предназначенное ему по начальному замыслу.

Вторым основным моментом в строении сюжета, привлечким на довольно продолжительное время исключительное внимание писателя к роли Подростка, является следующая запись от 1 августа 1874 г.: «Идея. Не отец ли Он современный, а подросток сын Его?» С этого момента Подросток действительно становится на время главным героем. О нем обилие записей: о поведении его по приезде в Петербург, о встречах



ДОСТОЕВСКИЙ

Рисунок (карандаш) И. Н. Крамского, 1882 г.

(по фотографии М. Панова, 1880 г.)

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

с долгушинцами, об идее могущества («статья Ротшильдом») и т. д. Разумеется, будут на тех же страницах записи и о других героях, но поскольку преимущественно речь идет о Подростке, этим определяется хронологическая стадия работы над планами.

И вскоре возникает мысль передать свою роль Подростку, сделать его автором романа: заглавие «Подросток», идейный его смысл — «Исповедь великого грешника. Писанная для себя»... Мы у грани третьего определяющего момента, который начинается со следующей записи: «(12 августа). *Важное разрешение задачи. Писать от себя. Начать словом Я*». И опять, повторю: «Исповедь великого грешника для себя». Это одно уже наводит на мысль, что какова бы ни была запись, касающаяся Подростка, идеологического ли характера или из истории его жизни, если она не от Я, то чаще всего ее следует относить к более раннему периоду.

Не представляет особенно больших затруднений, в смысле правильного указания их места и времени, обилие записей о «Нем», будущем Версилове. Они, безусловно, были все сделаны в первой тетради до 8 сентября, когда впервые появляется странник Макар Долгорукий.

Задуманный вначале как «чудовищный эгоист» типа Ставрогина, который может совершать страшные преступления, хотя и является искателем высокой мысли, «Он» занимает в строении сюжета, в набросках и планах самое главное место. Все события должны будут происходить преимущественно в связи с «Ним» или при активном «Его» участии. Но именно с появлением Макара все начинает меняться в самой основе: умирятся «Его» большие страсти; каждый его поступок, как и других действующих лиц возле него, особенно тесно с ним связанных, принимает высокий идейный смысл, и само собой перестает ощущаться то одиозное, что на первых порах — в сюжете, в кружении необычайных по своей преступности событий, казалось, граничит с бульварщиной. Здесь-то и выступают записи на разрозненных листках, переплетенных впоследствии во вторую тетрадь, на которых делались дополнения к записям первой тетради в виде более или менее подробных мотивировок или углублялись идеологические высказывания героя, преимущественно — «Его», Версилова. Это и позволило нам распределить большую часть материалов из второй тетради среди записей первой тетради, причем, разумеется, главной опорой служили нам точные авторские датировки записей.

Ниже, в конце комментария, приводятся ссылки на архивные источники, из которых видно, как мы распределили весь материал из всех трех тетрадей и на отдельных листах, согласно последовательности творческого процесса художника. Чтобы ясно было, с какой осторожностью это делалось, приведу несколько примеров

Во второй переплетенной тетради записи на стр. 60—63 связаны между собою не только единством тем, но и расположением. На стр. 60 имеются наброски следующих трех тем: 1) темы идеального учителя-коммуниста Федора Федоровича, о чистоте и прелести детской души, 2) темы о преступном типе Ламберте, 3) рассуждение будущего Версилова о сатане и боге; вскользь еще — упоминание о m-lle Andrieux. Вторая и третья темы получают на следующих трех страницах (61—63) дальнейшее развитие и углубление. Но этого мало. Последняя фраза на стр. 61, незаконченная, продолжается на стр. 62, на которой последняя фраза тоже незакончена и переходит на следующую, 63-ю страницу. Все эти четыре страницы (60—63) мы помещаем в нашем расположении между страницами 45 и 50 первой тетради. Основание следующее: в первой тетради Подросток превращается из брата Версилова в сына впервые на стр. 50 (приведенная выше запись: «1 августа. *Идея*. Не отец ли Он современный, а подросток сын Его?»). Здесь же, во второй тетради, стр. 60, Подросток — еще брат. Это — с одной стороны. С другой — в самом конце стр. 63 есть такая запись: «*Студент университета*», бросающийся ночью на всех женщин с похабщиной (корреспонденция „Русского мира“, около 10 июля). Корреспонденция эта была напечатана в номере от 12 июля, по новому стилю — 24 июля. Ставится вопрос: где Достоевский мог прочитать эту корреспонденцию? Либо в Эмсе, откуда он выехал в Россию 23 или 24 июля н. с. (см. письмо к Пуцуквичу от 11 августа. — «Письма», т. III, стр. 137—138), либо в Петербурге. Допустим первое. Так как газета могла дойти до Эмса не раньше чем на четвертый день после выхода, т. е. приблизительно 16/28 июля, то он мог ее читать либо 28—29 июля по новому стилю, т. е. либо перед записями на стр. 45 первой тетради, где имеется точная авторская дата: 18/30 июля (поскольку предыдущие записи, тесно связанные между собою тематически, помечены 12/24 июля), либо перед записями на стр. 50 с датой 1 августа (по старому стилю). Предпочитаем, однако, последнее ввиду того, что вряд ли вообще получалась в Эмсе такая мало распространенная газета, как «Русский мир». Достоевский, во всяком случае, в письмах из-за границы ни разу о ней не упоминал, в то время как о газете «Голос» говорится неоднократно.

Или следующий пример. В переплетенной тетради имеется ряд страниц (от 30 до 38), тесно связанных между собою тематически. На первой из них, точно датированной 4 сентября, находится такая запись: «Записки год спустя...». На следующей странице, 31-й, не датированной, одна из записей тоже так начинается: «Теперь, когда уже год спустя...», и тут же: идея статья Ротшильдом, о которой Подросток рассказывает, «Ему» (Версилову) на стр. 32, где затрагивается еще одна тема: о христианстве и социализме, продолжающаяся на стр. 33, на которой дата — 6 сентября.

Но эта же дата на стр. 26, откуда начинается новый цикл органически связанных между собою тем, развивающихся в записях на стр. 27—29. Так мы их и размещаем: сначала идут стр. 30—38, за ними стр. 26—29, и все они впереди стр. 128, точно датированной 7 сентября в первой переплетенной тетради. По таким же и им подобным основаниям мы размещаем среди записей первой тетради и другие страницы из второй тетради переплетенной.

Однако часть страниц из второй тетради, за неимением надежных опорных данных, осталась у нас нераспределенной; их мы помещаем в самом конце названной нами первой категории, уже после записей первой тетради.

Стр. 59. *Школьный учитель, роман*.— Эта первая запись об учителе, как и все дальнейшие записи о нем, о детях и об его деятельности среди них, в основном, восходит к неосуществленной поэме «Житие великого грешника», замысел которой связан с целым рядом записей к роману «Идиот» и относится еще к 1869 г. (См. Ф. М. Достоевский. Записные тетради. М.—Л., «Academia», 1935, стр. 96: «20/8 декабря. *Житие великого грешника*»). На эту связь указывает и сам Достоевский в первом номере «Дневника писателя» за 1876 г.: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении». И вслед за тем: «Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста» (т. XI, стр. 147). «Бесами» тема «Жития» была отсечена лишь на время, и теперь, в самом начале 1874 г., она появилась вновь. Это видно из следующих параллелей: в поэме, кроме «великого грешника», пока еще ребенка одиннадцати лет, должны были действовать и другие дети — «честные» и «преступные»: Умнов, хроменькая Катя, Альберт или Lambert, Аркашка. Дети покидают семью, становятся уличными. Кроме детей, там «святая мать, идеальное и странное создание». Великий грешник, в будущем «боец за правду», — незаконнорожденный: «у отца его — не братья. Ему дают звать». Появляется какой-то учитель; часть действия происходит в пансионе Чермака: там матушкины дети, их «гядливости» — очевидно, к нему, незаконнорожденному. Там читаются произведения Вальтера Скотта, «Герой нашего времени» Лермонтова, Гоголь, — особенно часто упоминается Гоголь, — и эффект этих чтений... То же и здесь сразу после записи о школьном учителе «описание эффекта чтений Гоголя». И дальше о детях и замученной матери, а главный герой — «боец за правду» и т. д. и т. д. Этот образ идеального учителя, «положительно прекрасного человека», как показывают дальнейшие записи, связан также с князем Мышкиным в «Идиоте».

Стр. 59. *Гамлет-христианин*.— Есть основание увидеть в этой записи первый момент зарождения образа Версилова; в черновиках он еще более, чем в окончательном тексте, внутренне противоречив, способен в одно и то же время на «противоположные деятельности», — скептик, жаждущий, как и Гамлет, веры, покоряющей его волю, «высокой идеи» и страдающий в своем безверии. «Анализ прежде всего и эгоизм», «вечно возится и носится с самим собою», «постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением». Версильов должен был быть резко контрастен «школьному учителю» из предыдущей записи, который будет показан как «положительно прекрасный человек. — «весь вера», не знающий колебаний на пути добра, своего рода Дон-Кихот... Как «воплощение двух коренных противоположных особенностей человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится», — как вечные типы были представлены Тургеневым Гамлет и Дон-Кихот в знаменитой речи, произнесенной 10 января 1860 г. Это было, когда Достоевский только что вернулся из Сибири и вновь окунулся в сферу взволнованной общественной жизни накануне крестьянской реформы. «Веру прежде всего» выражает собою Дон-Кихот, — утверждает Тургенев, — «веру в нечто вечное, неизбывное, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека». «Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью». И дальше: «В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование». Особенно же для него характерно то, что «чувственности и следа нет у Дон-Кихота; все мечты его стыдливы и безгрешны, и едва ли в тайной глубине своего сердца надеется он на конечное соединение с Дульциней, едва ли не страшится он даже этого соединения!» (И. С. Тургенев. Собр. соч., т. 11. М., 1956, стр. 169—172, 177). Таким и будет представлен дальше учитель в его «любви к невесте», как и его «эквивалент» в окончательном тексте — странник Макар Долгорукий. Близость образа Версилова к Гамлету в понимании Тургенева кажется тем более разительной, когда читаем, что «Гамлет с наслаждением, превеличленно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя — и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя — и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, — и привязан к жизни». Именно таким будет представлен Версильов. Характерна очень и наружность Гамлета, как ее описывает Тургенев: «Его меланхолия, бледный <...> вид, <...> черная, бархатная одежда, <...> изысканные манеры <...> постоянное чувство полного превосходства над другими, рядом с язвительной потехой самоунижения, все в нем нравится, все пленяет» (там же, стр. 172—173). Это почти портрет Версилова, каким его рисует Подросток. На

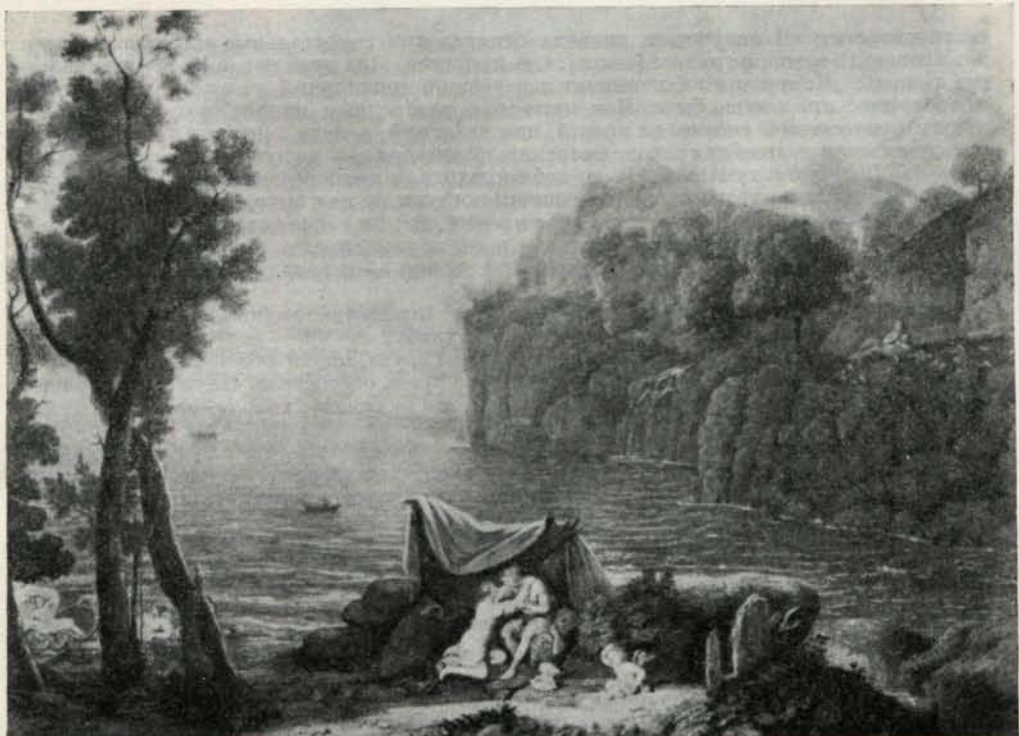
мысль о некотором сходстве сюжета «Подростка» с тургеневской трактовкой трагедии Шекспира наводят следующие слова из статьи «Гамлет и Дон-Кихот»: «Гамлет много выигрывает в наших глазах от привязанности к нему Горация. Это лицо прелестно и попадаетесь довольно часто в наше время <...> Он жаждет поучения, наставления и поэтому благоговейно перед умным Гамлетом и предается ему всей силой своей честной души...» Это почти полностью совпадает с отношением к Версильову Подростка. Вспоминается, правда, отдаленно и финал «Гамлета», когда читаем у Тургенева: «Прекрасны последние слова Гамлета. Он смиряется, утихает, приказывает Горацию жить <...> но взор Гамлета не обращается вперед... „Остальное... молчание“, — говорит умирающий скептик — и действительно умолкает навеки» (там же, стр. 185—187). Умолкает так и Версильов. Достоевский не дает ему физической смерти. В этом пункте он отступает от тургеневской схемы: обращая Версильова в веру (по комментируемой здесь записи «Гамлет-христианин»), делает его христианином. Но духовно, после попытки самоубийства, он фактически выбывает из жизни.

Стр. 59. *Апокрифическое евангелие*. — Сказания о Христе, церковью не освященные, с первых же веков христианства получившие очень широкое распространение. Это была своего рода христианская мифология, соответствовавшая уровню мышления более или менее широких масс новообращенных христиан. В России апокрифы назывались «отреченными» книгами. Христианское учение разрушало народную мифологию. Народ привык к мифам, богатым образами, происшествиями, фантастическим элементом, а всем этим «Новый завет», церковью признанное Евангелие не богато. Апокрифы подробно, с чисто сказочными чертами, говорили о сотворении мира, связывали воедино судьбу Адама, царя Соломона и Христа, подробно рассказывали о загробном мире и т. п.

В эпоху 1860—1870 гг. интерес к апокрифической литературе выразился у нас в целом ряде работ: «Памятники старинной русской литературы». Под ред. Н. И. Костомарова и А. Н. Пыпина (1860—1862); Н. С. Тихонравов. *Памятники русской отреченной литературы* (1864), А. Н. Веселовский. *Опыты по истории развития христианской легенды* (1875—1877).

Стр. 59. *Искушение дьяволом*. — Имеется в виду евангельская легенда (в 4-й главе Евангелия от Матфея) о трех искушениях Христа: первое — «если ты сын божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»; второе искушение — совершить в глазах народа чудо: бросясь вниз с крыла храма, ибо написано: «Ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя». И третье искушение — могуществом и властью над всеми царствами мира. Достоевский останавливается преимущественно на первом искушении — о камнях, обращенных в хлебы, и ответе Христа: «не хлебом единым жив будет человек», — придавая этим словам «смысл великого исторического предвидения на множество веков», вплоть до господствующих идей современности — атеистического социализма передовой интеллигенции. Об обращении «камней в хлебы», т. е. о разрешении социального вопроса о «голодных и раздетых», впервые речь идет в «Дневнике писателя» за 1876 г., в первом январском номере, составлявшемся, очевидно, еще до окончания «Подростка» или сразу же после него. Здесь, в главе под названием «Спиритизм. Нечто о чертах...» Достоевский, как и Толстой в комедии «Плоды просвещения», осмеивает увлечение спиритизмом в высшем кругу столичного общества. Но уже в тоне, совершенно серьезно, переносит внимание в область проблем нравственно-философского характера: о смысле жизни вообще, о смысле всей истории человечества, о том, что такое счастье и его возможности. Читаем: «О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы необычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека, как мечтают наши русские социалисты, — словом, ешь, пей и наслаждайся. „Вот, — закричали бы наши филантропы, — теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уж более материальных лишений, нет более заедающей „среды“, бывшей причиной всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более бесперывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займется высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!» Но, — читаем дальше, — «вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них всё украл разом» (т. XI, стр. 175).

Во второй главе второй главы майского номера «Дневника писателя» за 1876 г., в связи с самоубийством акушерки Писаревой, Достоевский опять пишет «о камнях, обращенных в хлебы» (т. XI, стр. 303). Солист оркестра б. Мариинского театра В. А. Алексеев в письме от 3 июня 1876 г. задает Достоевскому по этому поводу вопрос: «Что вы хотите сказать этим? <...> Камни не сделались хлебами и не обратились в пищу, и затем нигде не говорится в Евангелии о камнях, обращенных в хлебы» («Письма», т. III, стр. 362). И Достоевский сейчас же отвечает ему письмом, в котором полностью разъясняет, как он понимает связь этого «дьяволова искушения» с самым ягучим вопросом



Картину эту очень
высоко ценил Федоръ
Михайловичъ и на-
зывал ее „Золотой векъ“.

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ С АСПИСОМ И ГАЛАТЕЕЙ.

КАРТИНА КЛОДА ЛОРРЕНА, 1657 г.

Фотографическая открытка (1870 г., Дрезден)
с надписью А. Г. Достоевской на обороте:

«Картину эту очень высоко ценил Федор Михайлович и называл ее „Золотой век“»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

современности»: «В искушении дьявола слились три колоссальные мировые идеи, и вот прошло 18 веков, а труднее [выше], т. е. мудренее, этих идей нет, и их все еще не могут решить. „Камни и хлеб“ значит теперешний социальный вопрос, *среда*. Это не пророчество, это всегда было. Чем идти-то к разоренным нищим, похожим от голодухи и притеснений скорее на зверей, чем на людей, — идти и начать проповедовать голодным воздержание от грехов, смирение, целомудрие, — не лучше ли *накормить* их сначала? Это будет гуманней. И до тебя приходишь проповедовать, но ведь ты сын божий, тебя ожидал весь мир с нетерпением; поступи же как высший над всеми умом и справедливостью, дай им всем пищу, *обеспечь* их, дай им такое устройство социальное, чтоб хлеб и порядок у них был всегда, — и тогда уже спрашивай с них греха. Тогда если согрешат, то будут благодарными, а теперь — с голодухи грешат. Грешно с них и спрашивать.

Ты сын божий — стало быть, ты все можешь. Вот камни, видишь, как много. Тебе стоит только повелеть — и камни обратятся в хлеб.

Поведи же и впредь, чтоб земля рождала без труда, научи людей такой науке или научи их такому порядку, чтоб жизнь их была впредь обеспечена. Неужто не веришь, что главнейшие пороки и беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты и из невозможной борьбы за существование.

Вот 1-я идея, которую задал злой дух Христу. Согласитесь, что с ней трудно справиться. Нынешний *социализм* в Европе, да у нас, везде устранил Христа и хлопочет прежде всего о *хлебе*, призывает науку и утверждает, что причину всех бедствий человеческих одно — *нищета*, борьба за существование, „среда заела“» («Письма», т. III, стр. 211—212).

Как видим, роли распределены между «дьяволом», «умным духом», и Христом так, что вся сила логики и убеждения отдана «умному духу», в плоскости реальной убедителен «дьявол» — умный дух, Мефистофель, демон, «дух сомнения и познания», но не Христос. В задуманном романе «Подросток» должна была впервые звучать эта тема в связи с идеями коммунизма, которые исповедует «школьный учитель» (в окончательном тексте с этой темой связано изображение кружка Дергачева). В «Братьях Карамазовых» тема эта станет центральной в «Легенде о Великом инквизиторе», которую сам Достоевский назовет кульминационным пунктом романа, его главным, стержневым, опорным символом, стягивающим к себе все нити как идеологические, так и сюжетные.

Стр. 59. ...*глиняная птица пред нищими духом*. — По всей вероятности, имеется в виду подробный рассказ, заимствованный из Евангелия от Фомы, о детстве Христа, где он рисуется буйным, суровым мальчиком, творящим чудеса, оживляющим птиц, слепленных из глины, двигающим своим словом здания и т. д.

Стр. 59. ...*Дети ∞ Странствия* и т. д. — как было уже выше указано, все это, в главном, восходит к образам и мотивам из неосуществленной поэмы «Житие великого грешника». *Мать, вышедшая вторично замуж*, — в дальнейшей работе над романом, как и в окончательном тексте, этому мотиву отдаленно соответствует история матери Подростка, Софьи Андреевны, ставшей женою Версилова после того, как была уже повенчана с Макаром Долгоруким. Тоже и дальнейшие слова: *сведенные дети* — в окончательном тексте дети Версилова от первой жены Фанариотовой, Анна Андреевна и ее брат; Подросток и его сестра Лиза — от Софьи Андреевны.

Стр. 59. *Застрелившийся и бес вроде Фауста*. — Тематически это, может быть, восходит к предыдущей записи: кто-то из тех, кто обладает чуткой совестью, не выдерживает краха всей европейской цивилизации, разочаровывается во всем и погибает. Есть основание усмотреть в печатном тексте далекое соответствие этому наброску в идейном самоубийстве Крафта. Это про таких, как Крафт, сказано дальше в черновиках (см. настоящий том, стр. 59): «Человек в высших экземплярах своих и в высших проявлениях своих ничего не делает *просто*: он и застреливается не просто, а религиозно». Может быть, в том, что рядом с застрелившимся — «бес вроде Фауста», — нужно усмотреть отражение первоначального образа Версилова: в черновиках Версилов, скептик и циник, долго сопоставляет себя, свою «подлую живучесть», с идейным фанатизмом Крафта, который не может мириться с второстепенной ролью России в истории всего человечества, и застреливается.

Стр. 59. *Нашли подкинутого младенца*. И следующая запись: *Федор Петрович (любитель детей и кормилица)*. — Это, очевидно, первый набросок эпизода с подкинутой девочкой Риночкой и женой столяра, согласившейся кормить ее своим молоком, так как только что умер ее собственный грудной ребенок, по имени тоже Ариночка (т. 8, стр. 105—107).

Стр. 59... и *вдруг рассказывает им о Шиллере*... — Шиллера Достоевский воспринимал всю жизнь, и с самой ранней молодости, как величайшего гуманиста, как неиссякаемый источник всеобъемлющей любви к человечеству, к миру в целом. Помимо ряда отзывов о нем, всегда восторженных, в письмах и в «Дневнике писателя», показательна особенно кульминационная глава 3-й книги «Братьев Карамазовых», в которой Митя вдохновенно читает «Песнь радости» Шиллера. Шиллеровский пафос всечеловеческой любви

прямо и указан здесь как один из основных элементов во всей идеологической концепции романа. В анонимной редакционной заметке во 2-й книжке журнала «Время» 1861 г. «Нечто о Шиллере» сказано: «Мы должны особенно ценить Шиллера, потому что ему было дано не только быть великим всемирным поэтом, но, сверх того, быть нашим поэтом. Поэзия Шиллера доступнее сердцу, чем поэзия Гете и Байрона». В письме от 1 января 1840 г. к брату, страстному поклоннику и переводчику Шиллера, Достоевский писал о нем в таком юношески повышенном эмоциональном тоне: «Я вы зубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний» («Письма», I, стр. 57).

Стр. 59. *«Московские ведомости», 26 февраля, 74, из Бахмута о жене-присяжной.* — По этой записи мы и датируем все предшествующие наброски февралем 1874 г. Художник начинает искать факты из окружающей действительности, которые могли бы лечь в основу конкретно-жизненной фабулы вокруг одной из названных тем: о детях, о фантастической поэме-романе, об измученной матери... Ему, по обыкновению, нужны факты, наиболее разительные. Его постоянным убеждением было, что именно в резких отклонениях от обычных человеческих норм, в исключениях улавливается скорее всего смысл, идея нарастающих в общественной жизни изменений. В газете рассказывается о том, как крестьянка села Андреевки, сильно терпевшая от побоев мужа и свекрови, убежала домой к матери. Мать не приняла ее, и она ушла к подружке верст за 15. В новом месте сельское начальство потребовало от нее вида на жительство, и так как вида не оказалось, начальство запросило старосту села Андреевки, отпущена ли она начальством действительно. Вместо ответа от старосты приехал за ней муж с двумя товарищами. Они забрали ее от подружки насильно и сейчас же поехали обратно. И началось дикое истязание. Женщину привязали веревками к оглобле и стали шибко погонять лошадей. Женщина падала, изнемогая, поднималась и снова бежала, подстегиваемая кнутом. Доехали так до кабака, выпили и снова отправились в путь. Отъехав от кабака версту, женщину опять привязали к оглобле, и опять началось дикое избиение; когда она падала, истерзанная, задыхаясь, ее поднимали, били, погоняя кнутом. И так всю дорогу до самого села (см. стр. 61). В дальнейших записях это «бахмутское истязание» нигде не использовано, если не предположить, что к нему восходят, по изощренной жестокости самого характера мучительства, несколько случайных набросков о некоем швейцаре или Швейцарове, сжегшем на плите свою «гулящую» жену (см. стр. 142).

Стр. 60. *Заговор детей...* и т. д. — вплоть до *Дети убийцы отца* — все это восходит к указанной выше «поэме» 1869 г. «Житие великого грешника», представляя собою некую попытку по-новому конкретизировать наметившуюся там главную тему о детях. В частности, туда относится запись: *Дети развратники и атеисты*. Ламберт упомянут, очевидно, в той же роли кощунствующего и развратного мальчика. И рядом с ним Andrieux. В окончательном тексте она упоминается лишь вскользь в воплях Альфонсины, сожительницы Ламберта; в черновиках же она будет в дальнейшем встречаться несколько раз в связи не то с Подростком, не то со старым князем Сокольским, с которым ее сводит тот же Ламберт.

Стр. 60. *Дети убийцы отца («Московские» ведомости, № 89, 12 апреля).* — Эта вторая дата, по которой мы устанавливаем ход работы над романом; работа идет еще крайне медленно. Прошло с той записи о «жене-присяжной» около полутора месяцев; и, очевидно, пока еще нет никакого более или менее твердого сюжетного замысла. Убийцами отца оказались мальчики в возрасте от 8 до 10 лет. Действие происходит в местечке Зехсгауз, возле Вены. У столяра Антона Флейснера сбежала жена вместе со старшим сыном 13 лет, оставив четырех детей, из которых самому младшему не было еще года. Покинутые дети любили мать и очень по ней скучали. Они обвиняли во всем отца и решили его убить и опять соединиться с матерью. План убийства был задуман восьмилетним мальчиком; он сообщил его братьям, и те одобрили. Орудием убийства должны были служить две стамески: одна, чтобы перерезать отцу горло, другая, чтоб проткнуть ему насквозь живот. Убийство дети решили совершить над спящим в ночь с 5 на 6 марта. И были уже распределены роли. Один будет стоять на страже, дожидаться, пока отец крепко заснет; двое других нападут, одновременно начнут резать и колоть. Но годовалое дитя плакало всю ночь, отец встал к нему и не засыпал. Часов в 7 утра он, наконец, заснул. Тогда дети стали тихо-тихо прокрадываться; вот они уже подошли к его кровати, уже занесли над отцом свое орудие, острая стамеска приставлена к горлу, еще одно мгновение и — страшное было бы совершено. Но вдруг опять заплакало дитя, отец снова проснулся. Потому ли, что факт этот уж слишком исключительный, или потому, что произошел-то он не в России, — основой сюжета он не стал даже и на время. Только в одном месте, вскользь, сделана запись: «после убийства отца» (стр. 81).

Есть, может быть, некоторое основание думать, что в этом газетном факте не совершившегося отцеубийства мы имеем нечто в роде зародыша сюжета «Братьев Карамазовых». На эту мысль наводит одна пространная запись на полях, точно датированная 13 сентября 1874 г., к сюжету «Подростка» не имеющая никакого отношения,

восходящая к воспоминаниям писателя о времени пребывания в Сибири сейчас же по выходе из каторжной тюрьмы.

«Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, в роде истории Иль(ин)ского. Два брата...»

Слились здесь воедино основная фабула «Карамазовых» с фабулой вставного в них эпизода: «Таинственный посетитель». (См. А. С. Долинин. Последние романы Достоевского, стр. 55—57).

Стр. 60. *Момент. Быстрая встреча молод(ого) человека (идеал борьбы) с прежним товарищем, решившимся застрелиться. День с ним. Тот застреливается.* — В окончательном тексте (2-я глава 4-й главы первой части) Подросток, восходящий к центральной фигуре из «Жития...», к «идеалу борьбы», проведет с Крафтом всего несколько часов, — самоубийство совершится в отсутствии Подростка, но впечатление будет колоссальное.

Стр. 60. *Маг. У Дюссо или в Мал(ом) Ярославце.* — очевидно, среди разных детей, которые должны были играть главную роль в романе, предполагается еще «мальчик-лгун», фантазер.

Стр. 60. *Хищный тип (разбор кн. Даниила Авсеенком). Почему дурак князь Данило имеет право на мое внимание.* — Речь идет здесь о рецензии реакционного романиста и критика В. Г. Авсеенко на исторический роман Евгения Салиаса «Пугачевцы», напечатанной в апрельской книжке «Русского вестника» 1874 г. Авсеенко ставит роман Е. Салиаса на один уровень с «Войной и миром» Толстого, восхищается особенно фигурой князя Даниила. 18-ти лет этот Данило был отведен отцом в Петербург и поручен покровительству графа Румянцева. Данило делает быструю карьеру; Екатерина II обратила на него милостивое внимание, и он часто бывает во дворце. Но вскоре Данило проявляет «самовольство», за какое-то оскорбление застрелил офицера и обидел какого-то вельможу; его арестуют и ссылают в деревню к отцу с приказанием, однако, к тезоименитству государыни быть безотлагательно в Петербурге. В деревне князь Данило еще больше дает волю своему бешеному праву. «Умный, непреклонный и отважный», он самоуверенно глядит вперед. Начинается мятеж (имеется в виду Пугачевское восстание). Данило вспоминает свой долг дворянина. Соблазны петербургской карьеры на время забываются. И тут происходит его встреча с Милушей. Милушу Авсеенко характеризует так: «Она — дичок, натура простая, но глубокая, полюбит навеки». «Неотразимая прелесть ее наивности и женственности привораживает князя Данилу». Правда, — продолжает дальше рецензент, — Данило вспоминает, будто его подвинуло жениться то обстоятельство, что Милуша была невестой другого — князя Андрея Уздальского. «Этому можно поверить: некоторый хищнический инстинкт сказывается в Даниле даже в минуты полного опьянения страстей»... Но опьяненного счастьем и еще влюбленного в свою добычу Данилу гложет и сущит мысль, что отныне жизнь его очертилась узким кругом, что память о нем сохранится только для детей и внуков. «Да что проку в их памяти! — Что ветер пролетный. Я бы хотел, чтобы меня вся русская земля чрез сто лет поминала! Вот как Румянцева помянет, Орлова. Один — Задунайский, другой — Чесменский! А я какой? Я — Милушин. А я мог бы... И огонь в себе чую... И случай в руки лез. Да и теперь еще, вернись я в Питер... Многое на перемену пойдет! Да видно не судьба». Далее Достоевский делает запись по поводу «разбора» этой книги: «Не понимают они хищного типа!» (ни Салиас, ни Авсеенко).

Стр. 60-61. *Иметь в виду настоящий хищный тип в моем романе. Хищный тип (1875 года). Страстность и огромная широкость. И обаятелен и отравителен. Думать об этом типе. 4 мая 74.* — Так возник впервые, уже конкретно, по контрасту с князем Данилой, образ центрального героя романа, Версилова, и с этого момента начинается настоящая работа над планами. Из общей сюжетной схемы салиасовского романа останется, пожалуй, лишь внешнее сходство между женой князя, Милушей, и женой будущего Версилова, матерью Подростка, которая уже в самом начале романа тоже предстает как «дичок», натура простая, но глубокая, привораживает неотразимой прелестью наивности и женственности. *Хищный тип (1875 года)* — так, как он мыслится здесь, в отличие от центрального героя романа Салиаса, восходит всеми чертами своими к «принцу Гарри» в предыдущем романе «Бесы», красавцу Ставрогину, с лицом, «похожим на маску». Связь его с Ставрогиным тут же подчеркивается в записи: «красный жучок, Ставрогин»; «жучок» — символ всего им пережитого и передуманного в ту минуту, когда впервые зародилась у него мысль о возможности спасения от нравственной гибели в акте публичного покаяния, в «исповеди» (см. об этом подробно: «Документы по истории литературы и общественности. Ф. М. Достоевский». М., 1922, а также А. С. Долинин «Исповедь Ставрогина». — «Лит. мысль». Пг., 1922).

Стр. 61. *Снес пощечину...* — О пощечине рассказывает, со слов Крафта, Подросток: «Молодой князь Сокольский<...> дал Версилу пощечину публично в саду и тот не ответил вызовом; напротив, на другой же день явился на Променаде как ни в чем не бывало» (т. 8, стр. 76). В 8-й главе 5-й главы первой части романа «Бесы» рассказывается

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...
— Он, как и прежде, «маленький» человек, но с...

о пощечине, которую дал Ставрогину Шатов: «Шатов и ударил-то по особенному, вовсе не так, как обыкновенно принято давать пощечины (если только можно так выразиться), не ладонью, а всем кулаком, а кулак у него был большой, веский, костлявый, с рыжим пухом и с веснушками. Если б удар пришелся по носу, то раздробил бы нос. Но пришелся он по щеке, задев левый край губы и верхних зубов, из которых тотчас же потекла кровь» (т. 7, стр. 217). В ответе Ставрогина на удар сказывается вся сила его воли. Принадлежа к тем натурам, «которые страха не ведают», он мог бы обидчика убить, и без малейшего колебания, тотчас же, тут же на месте и без вызова на дуэль. Но вот что произошло: «Едва только он выпрямился после того, как так позорно качнулся набок, чуть не на целую половину роста, от полученной пощечины (...), как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи; но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел, как рубашка». Так осиял Ставрогин свой гнев, обнаружив почти нечеловеческое самообладание (т. 7, стр. 219).

Стр. 62. *Молодой человек (NB великий грешник) и т. д.* — Достоевским прямо подчеркивается связь третьего главного героя, будущего Подростка, с темой «Жития...»; она намечается пока в последнем моменте его жизненного пути, в конечных его достижениях: «великий грешник» «после ряда прогрессивных падений вдруг становится духом, волей, светом и сознанием на высочайшую из высот» (см. стр. 62). Так понимал художник свою задачу относительно этого героя и в «Житии».

Стр. 62. *Он у нас, как месяц молодой, появлялся...* — Фраза, которая звучит здесь одиноко, как народная поговорка, вне, казалось бы, всякой связи с предыдущими и последующими соседними записями, — в окончательном тексте возникает уже после подробной биографии Подростка. Ее с иронией произносит Версиров, только что угадав намерение мальчика порвать окончательно с семьей, чтобы «удалиться в свое величие», осуществить идею «стать Ротшильдом»: «Он у нас, как месяц молодой, — чуть покажется, тут и заткнется» (т. 8, стр. 119).

Стр. 62. *Думать о хищном типе. Как можно более сознания во зле. Знаю, что зло, и раскаиваюсь, но делаю рядом с великими порывами и т. д.* — Запись помечена «Эмс» (куда Достоевский ездил лечиться от эмфиземы легких), т. е. не раньше десятых чисел июня (см. «Письма», т. III, стр. 101, письмо к жене от 12 июня 1874 г.). «Зло» и рядом «великие порывы» — не в акте покаяния, не в исповеди, как у Ставрогина, а тут же, в романе, должен проявляться этот «хищный тип» в одно и то же время в двух противоположных «деятельностях». С одними людьми он «великий праведник», с другими — «страшный преступник, лгун и развратник» (...) *Здесь* — страсть, с которой не может и не хочет бороться. Там — идеал, его очищающий и подвиг умиления и умилительной деятельности. Мы имеем уже здесь, в зародыше, всю будущую сюжетную линию Версирова: страсть, его поглощающая, — Катерина Николаевна Ахмакова; очищающий его идеал — в эпизоде — Лидия Ахмакова, а главное — Софья Андреевна, мать Подростка. И сейчас уже указывается первопричина его раздвоенности, его двух «противоположных деятельностей». Поскольку, с точки зрения Достоевского, личность, характер человека формируется воплощенной в нем идеей, дается одновременно и психологический портрет этого хищного типа и основа его идеологии. То, что Версиров — большой скептик, прежде всего в религиозно-философском смысле, и определяет его отношение к идеям социальным: он «разбивает беспощадно идеалы у других» (...) и находит в этом наслаждение. И все это от убеждения, что «нет другой жизни, я на земле на одно мгновение, чего же церемониться». Интересно, что в окончательном тексте эти идеи прямо высказывает не Версиров, а Подросток на тайном собрании народнической молодежи в квартире Дергачева (т. 8, стр. 62—65).

Стр. 63... *Он атеист не по убеждению только, а всецело. <Его характер> не от теории, а от чувства этой теории.* — К атеистической идеологии центрального героя, как к главной причине его деятельности и его характера, Достоевский в дальнейшем много раз обращается. Он ее варьирует, углубляет, приводит еще целый ряд доводов в пользу атеизма.

Образ, связанный с атеизмом, с «чувством этой теории», как первопричиной человеческого характера, дан впервые в письме к Майкову от 11 декабря 1868 г.: «Русский человек нашего общества и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, — вдруг, уже в летах, теряет веру в бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колен не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая: глубокое чувство, человек и русский человек). Потеря веры в бога действует на него колоссально <...> Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадает на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа, и русскую землю», и русского бога («Письма», т. II, стр. 150). Герой большинства черновых записей, как и в окончательном тексте Версиров, — «уже в летах», он «шныряет по новым поколениям, по атеистам»: в записях есть следы его встреч, не только случайных, как и в окончательном тексте: с Василием, главным и наиболее идейным среди революционеров, и

ИЛЛЮСТРАЦИЯ М. Г. РОЙТЕРА
К РОМАНУ «ПОДРОСТОК»

Тушь, 1947 г.

Музей-квартира Ф. М. Достоевского,
Москва

с Крафтом, и с другими долгушинцами. Судя по черновикам, пребывание его в Европе должно было играть в ходе развития сюжета гораздо большую роль, чем в законченном романе. А то, что атеист (в письме к Майкову) «попадает на крючок пезунту», найдет дальше свое отражение в католичестве Версилова, в тех «веригах», которые Версильов стал носить после того, как он, по слухам, принял за границей католичество (мотив перехода в католичество звучит в подготовительных записях особенно сильно). Ниже, в комментарии к записи о Герцене (см. настоящий том, стр. 473), подробно указан источник, к которому восходит этот эпизод о встрече с пезунтом, в окончательном тексте оставшийся неиспользованным. Так намечается еще момент в генезисе образа Версильова: он восходит не только к Ставрогину, но к старому замыслу «Атеизма». Дальше в записях это будет сказываться все сильнее и сильнее. Так, Версильов, пока еще молодой, временами такой же, как Ставрогин, жестокий, способный больше на зло, совершающий такое же преступление, как и он (мотив этот держится в черновиках довольно долго), — начинает постепенно стареть, облик его все более и более смягчается, страдания становятся глубже, идейнее, мотив ставрогинского преступления совершенно исчезает. Как видим, почти в самом начале работы над «Подрастком» возродились оба старых неосуществленных замысла: «Атеизм» и «Житие великого грешника»; Версильов тяготеет к первому замыслу, а будущий Аркадий Долгорукий — ко второму.

Стр. 63. В него влюбляется страстно женщина. (В ту молодой юноша 20 лет)... и т. д. до конца страницы — попытка строить сюжет близко к ненапечатанной «Исповеди Ставрогина»: обольщение девочки 13 лет, самоубийство девочки (ставрогинский «жучок»), ревность матери к ребенку, смерть. В то же время все это отдаленно ведет к эпизоду с Лидией Ахмаковой, влюбленной в Версильова, и отношениям между нею и мачехой Катериной Николаевной, тоже его любящей. Молодой юноша — это либо Подрасток, Аркадий, либо князь Сережа Сокольский; об его любви к К. Н. Ахмаковой — больше, пожалуй, об его материальной заинтересованности в женитьбе — в окончательном тексте говорится лишь вскользь. Так намечается первая попытка конкретного сюжета («эмбрион плана»), в котором должен будет играть роль и появившийся в самой первой записи идеальный учитель Федор Федорович.

Стр. 64. Светлая же (его, хищного типа, деятельность. — А. Д.) в любви к одной девице или чужой жене. — «Одна девица», как уже было указано выше, — Лидия Ахмакова.

В печатном тексте о ней упоминается дважды: во 2-й главке 4-й главы первой части романа (рассказ Крафта) и в 1-й главке 7-й главы третьей части романа (отзыв Версилова об Ахмаковой). «Чужая жена» — в печатном тексте — мать Подростка, законная жена странника Макара Долгорукого.

Стр. 64. *Он тайне делает добро и посещает нуждающихся.* — В печатном тексте трагический эпизод с Олей, очутившейся в крайней нужде, обиженной и оскорбленной всеми (4-я и 5-я главки 9-й главы первой части романа).

Стр. 64. *Но вставить непременно несколько действительных, насущных лиц (как губернатора в «Бесах»)*... — Слова эти следует поставить в связь со статьей о «Бесах» Н. К. Михайловского в февральской книжке «Отечественных записок» за 1873 г.: «Пурриры „Гражданина“...» Михайловский делит всех действующих лиц романа на три категории: к первой относятся несколько фигур, «сделанных очень топорно», автором не продуманных и не прочувствованных и взятых на прокат у гг. Стебницких и Ключиных» («Отечественные записки», 1873, № 2, стр. 317, 2-я пагинация). «Большая часть лиц этой второй категории в „Бесах“ удачны, а некоторые даже превосходны. Если прекрасные фигуры упомянутого идеалиста 40-х годов, Степана Трофимовича Верховенского, и знаменитого русского писателя Кармазинова, читающего свой прощальный рассказ „Мерси“, — впадают местами в шаржу, то фигуры супругов Лембке положительно безупречны». Как нам уже приходилось писать, статья эта произвела огромное впечатление на Достоевского: он «нашел в ней как бы новое откровение». Михайловский в одном месте утверждает, что Достоевский «вслед за тем предложил нам своего „Подростка“, т. е. после статьи, в связи с впечатлениями от нее. Именно таких «положительно безупречных» фигур, как губернатор в «Бесах», хотел бы он ввести в тот роман, который будет печататься в том самом журнале, где он нашел «новое откровение».

Стр. 64. *Социальное его положение — бывший помещик, проживающий выкупные...* — Это первая попытка определить социальную основу образа атеиста Версилова, чтобы объяснить его раздвоение, проявляющееся в способности к двум противоположным «деятелям». Об этой социальной основе образа жизни дворян после крестьянской реформы 1861 г. сказано Достоевским подробно в связи с вопросом, *что* остается после этой реформы, в «смысле дворянском», от людей такого типа, как Стива Облонский (в романе Л. Толстого «Анна Каренина»): «Стива Облонский, эгоист, тонкий эпикуреец, житель Москвы и член Английского клуба. На этих людей обыкновенно смотрят как на невинных и милых жуиров, приятных эгоистов<...> остроумных, живущих в свое удовольствие. У этих людей бывает часто и многочисленное семейство; с женой и детьми они ласковы, но мало об них думают. Очень любят легких женщин, разряда, конечно, приличного. Образованы они мало, но любят изящное, искусства, и любят вести разговор обо всем. С крестьянской реформы этот дворянин тотчас же понял, в чем дело: он сосчитал и сообразил, что у него все-таки еще что-нибудь да остается, а стало быть, меняться незачем и — *après moi le déluge**. Об судьбе жены и детей он не заботится думать. Остатки состояния и связями он избавлен от судьбы червонного валета; но если б состояние его рухнуло и нельзя бы было получить даром жалования, то, может быть, он и стал бы валетом, разумеется употребив все усилия ума, нередко очень острого, чтоб стать валетом как можно приличнейшим и великосветским» (т. XII, стр. 54). Версилова, его образ жизни, «изящно-эгоистическое» отношение к людям, дальше, вплоть до окончательного текста, — рисуется так, что на Стиву Облонского он похож лишь отдаленно. Он высоко поднят над «повседневностью» в сферу преимущественно духовных интересов нравственно-философского характера. Молодой князь Сережа Сокольский, лишенный острого ума, будет изредка поступать, как истый «червонный валет». В «Братьях Карамазовых» отец Федор Павлович Карамазов — уже законченный «червонный валет».

Стр. 64—69. Почти все записи на этих страницах касаются идеального учителя «Федора Федоровича», который должен во всех отношениях контрастировать «хищному типу». Чтобы теснее связать их сюжетно, выдвигается такая версия (см. ниже, стр. 65): «Может быть, эта жена Федора Федоровича и есть та чужая жена, где совершается праведный подвиг Его» («хищного типа?»). И несколько дальше на стр. 65: «Федор Федорович женится не по страсти и не по любви, а по какому-то семейному условию». Это первый вариант сюжетной ситуации странника Макара Долгорукого, которому, как уже было указано, переданы в окончательном тексте и основные черты характера идеального учителя и его отношение к миру и к людям. В печатном тексте Макар женится на матери Подростка, Софье Андреевне, тоже не по страсти и не по любви, а по семейному условию, по предсмертному завещанию ее отца.

Стр. 65. *Федор Федорович отдал свое имение другому брату.* — В окончательном тексте этому соответствует эпизод, поставивший Версилова на «пьедестал», — его отказ от выигранного им богатого наследства (имение в 70 тысяч рублей) в пользу молодого

* после меня хоть потоп (франц.).

князя Сокольского. Он поступил так в силу того, что завещатель наследства оставил письмо, в котором «разясняет волю свою в смысле, обратном вчерашнему решению суда» (т. 8, стр. 204). Письмо это, будучи предъявлено на суде, — по словам Крафта, — «не имело бы большого юридического значения, так что дело Версилова могло бы быть все-таки выиграно», кроме того, оно находилось в его руках, и оно могло бы быть уничтожено им.

Стр. 65. *Дети проклинают классицизм. Заговор против Каткова.* — «Заговор», разумеется, не столько в связи с его реакционными общественно-политическими взглядами, которые проводились в издававшейся им газете «Московские ведомости» и, частично, в журнале «Русский вестник», сколько в связи с активной его поддержкой гимназической реформы, проведенной (в 1871 г.) министром народного просвещения, крайним реакционером гр. Толстым, страстным сторонником классической системы образования. По новому уставу, утвержденному 30 июля 1871 г., только окончившие курс классической гимназии (с двумя древними языками: латинским и греческим) имели право поступать в университеты. Будучи наиболее прямолинейным и активным защитником этой реформы, Катков действовал не только как публицист; еще в 1868 г. им был основан в Москве Лицей в память цесаревича Николая (так называемый Катковский) с целью «содействовать утверждению основательного образования русского юношества», где программы по древним языкам были еще более обширны, чем в классических гимназиях. (Подробнее см. Г. Шмидт. История средних учебных заведений в России. СПб., 1878, а также С. В. Рождественский и И. Черки по истории систем народного просвещения в России в XVIII и XIX вв. СПб., 1912).

Стр. 66. *Он — дурного рода, может быть, стыдится того, что дурного рода, и страдает.* — В окончательной редакции мотив страдания от того, что «дурного рода», появляется на первых же страницах романа не в биографии представителя старшего поколения, Версилова, а в первом рассказе Подростка о годах своей юности (см. т. 8, стр. 8). «Страдание» это определило характер героя, породило в его душе стремление к уединению, «идею» — стать таким же «богатым, как Ротшильд», чтобы иметь право смотреть на всех «сверху вниз», и, что особенно подчеркнуто, породило крайнюю его обидчивость в кругу «гремящей молодежи» из аристократической среды. Вполне вероятно, что здесь в основе — лично пережитое писателем, главным образом, в годы юности, во время пребывания в Военно-инженерном училище (см. его «Письма», т. I, стр. 52—54, а также «Мемуары» П. П. Семенова Тянь-Шанского, т. 1, Пг., 1917, стр. 203). Об этом свидетельствуют воспоминания Подростка об отношении товарищей-школьников к новичку в первый день его поступления в школу. Многое почти дословно совпадает с тем, что рассказывает Григорович о порядках в Военно-инженерном училище, в котором он учился в одно время с Достоевским (см. Д. В. Григорович. «Литературные воспоминания». М., 1961, стр. 37—46).

Стр. 66. *Изрубил образа.* — В окончательном тексте Версильов разбивает образ, древнюю икону, почти уже в самом конце романа: «свирепо размахнувшись», он «изо всех сил ударил его об угол изразцовой печки. Образ раскололся ровно на два куска...» (т. 8, стр. 561). Символический смысл этого акта не столько в религиозном отечении Версильова, сколько в его раздвоении и, в частности, в аллегории принятого им решения порвать навсегда со своим «последним ангелом», с Соней.

Стр. 69. *Белинский был один, когда задумал свой поворот после статьи своей «Восродинской годовщины»...* — После «Бесов» и «Дневника писателя» в «Гражданине» 1873 г. это первый сочувственный отзыв Достоевского о Белинском.

Стр. 70. *Он о святом Феодосии.* — Речь идет об игумене Киево-Печерского монастыря (ни мирское его имя, ни год рождения неизвестны; скончался 3 мая 1074 г.). О его высоких духовных подвигах создавались легенды. В февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский говорит о нем как об источнике исторических идеалов народа: «сильные и святые, «они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении» (т. XI, стр. 184).

Стр. 70. *Они говорят о процессе денег детей.* — Это, очевидно, еще один вариант эпизода (см. комментарий выше) с процессом о наследстве, о чем в окончательном тексте рассказывается дважды (см. т. 8, стр. 71—73 и на стр. 203—207). В настоящей начальной стадии работы над романом Он, будущий Версильов, как будто боится проиграть наследство.

Стр. 70. *Приготавливается дело с пощечиной.* — В окончательном тексте «дело с пощечиной» и «дело о наследстве» связаны так, что Версильов посылает вызов молодому Сокольскому из-за полученной от него пощечины, после того, как отказался от выигранного им наследства (т. 8, стр. 210).

Стр. 70. *Я не могу с этим не согласиться...* — и дальше до записи, датированной «6 июля». — Мысли, сформулированные здесь, представляют собою основу этико-философских воззрений Достоевского, нашедших наиболее полное свое выражение в высказываниях Ивана Карамазова (пятая книга «Братьев Карамазовых» — «Pro и contra»). В данном случае эти мысли должны были принадлежать старшему из братьев, будущему Версильову; в окончательном же тексте они являются главным аргументом Подростка в споре с дергачевцами (см. т. 8, стр. 62—63).

Стр. 71. *Разговор ее с братом генералом...* — В окончательном тексте это, очевидно, старый князь Сокольский, к нему и относится следующая запись: «Прежде он был человек умный и даже полезный». В печатном тексте об этом сказано так: «Говорили, что прежде он давал какие-то где-то советы и однажды как-то слишком уж отличился в одном возложенном на него поручении» (т. 8, стр. 27). К нему же, к старому князю, нужно отнести и следующие записи, шутки о мощах, в связи с религиозными исканиями Версильова: «Он хочет сделать себя святым, чтобы его мощи явились; <...> Светский человек, ходил в нашем платье, ну и все, и вдруг его мощи...» «Он держал себя так, как будто святой и его мощи явятся» (см. т. 8, стр. 42).

Стр. 72. *Он говорит жене: Я тебя замучаю...* — В окончательном тексте весь этот абзац почти дословно воспроизводится (см. т. 8, стр. 232). Как здесь, в черновиках, этот абзац и в печати сюжетно совершенно не связан с своим контекстом: «Друг мой, — сказал он вдруг грустно, — я часто говорил Софье Андреевне...» и т. д. Деталь, которая, очевидно, нужна автору лишь для характеристики внутренней противоречивости героя, но не для показа ее в действии.

Стр. 72—73. *Хоть бы я был слабохарактерная ничтожность ∞ Мое имя срамник, и больше ничего.* — Вся эта длинная тирада тоже почти целиком и дословно повторяется в печатном тексте, с пропуском, однако, некоторых фраз, немислимых в устах такого человека, сложного и гордого, как Версильов, как бы он ни был откровенен в исповеди своей перед сыном.

Стр. 73. *Я было порадовался тому, что у нас лет уже 15, как все интеллигентное... бросилось в реализм...* — Имеется в виду появление знаменитой статьи Чернышевского: «Антропологический принцип в философии» («Современник», 1860, № 4 и 5).

В статье «Идеализм, реализм и идолопоклонство» Н. К. Михайловский подробно рассказывает о том, как поколение начала 60-х годов, «реалисты», стало бороться с «возвышающим обманом» во всех областях общественной и личной жизни, как оно стало проповедовать «низкие истины» и дошло до того, что «человек есть эгоист, каждый его шаг, даже, по-видимому, самый великодушный и самоотверженный, направленный целиком к пользам и наслаждениям его самого; жертва есть фикция, нечто в действительности не существующее — сапоги в смятку». Так сложился у поколения 60-х годов, — говорит Михайловский, — целый кодекс реализма: «Нравственно все то, что естественно; человек есть раб обстоятельств; наука должна служить исключительно практическим целям; <...> человек есть животное...» «Кодекс слагался трудно, потому что отдельные е его параграфы противоречили нашим собственным чувствам и стремлениям. <...> Мы вынесли много ломки, страданий и внутренней борьбы из-за этого разлада наших скрытых идеалов с нашим открытым реализмом». В пример-то и приводится главный искатель «низких истин», Писарев, который, «сидя в крепости за политическую неблагонадежность, весьма пространно и азартно доказывал, что „мыслящий реалист“ должен сидеть за естественными науками, делать свое дело и не мешаться в чужие, что ему должно быть все равно, как живут другие, и т. д. Конечно, не идеал свой рисовал Писарев, а идола, который казался ему превосходным, как якобы логический вывод из основных положений реализма, но которого он на деле отнюдь не брал себе в образец» (Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. 4. СПб., 1909, стр. 39—40, 65). Но, — говорит Михайловский, — в практике, реальной действительности очень характерны для эпохи 60-х годов люди действительно «трезвые», которые пришли «и подобрали наши краткие и ясные формулы и пустили их в оборот... <...> Плюем на всякий идеализм, — сказали они, — держимся строгих предписаний науки и реальной философии. Мы — реалисты, а так как с точки зрения реализма нравственно то, что естественно, то мы, повинувшись естественной борьбе за существование, признаем нравственным давить слабых и неспособных. Мы — реалисты, а так как с точки зрения реализма жертва есть сапоги в смятку, то мы живем единственно ради своей собственной утробы <...> Мы — реалисты, а так как с точки зрения реализма наука должна служить практике и сама по себе цены не имеет, то мы пускаем ее в ход для обдывания своих практических делишек» и т. д. и т. д. «Словом, припленные люди, подобрав наши краткие и ясные формулы <...> навесили на них всевозможные грязные попопозновения, всяческую низость, всякое совсем не подходящее нравственное тряпье, подобранное ими на заднем дворе практической жизни» (т. 4, стр. 40—41). Так пишет Михайловский, один из наиболее авторитетных представителей молодого поколения 70-х годов, о том, как были использованы «людьми практики» «реалистические» лозунги эпохи. Для тех, кто изучает Достоевского, это свидетельство Михайловского представляет особый интерес. Лужин в «Преступлении и наказании» — не исключение и отнюдь не пасквиль на теоретические воззрения Чернышевского или Писарева. Лужин — именно тип, обобщен-

ОБЛОЖКА БОЛГАРСКОГО ИЗДАНИЯ
РОМАНА «ПОДРОСТОК»
(София, 1960)

Ф.М.ДОСТОЕВСКИ

ТОМ
О С М И

ЮНОША

РОМАН

Преведено от руски Л. СТАТКОВ

НАРОДНА КУЛТУРА
СОФИЯ 1960

ние этих пришлых людей, которые из «кратких и ясных формул» делали удобные им выводы в оправдание своих подлостей.

Стр. 73. ... я даже враг всякой... учебной реформе... — Имеется в виду, очевидно, новый устав, проведенный 30 июля 1871 г. министром Д. А. Толстым (см. выше комментарий к стр. 65).

Стр. 73. Обоих замешать в одну и ту же интригу (с княгиней). М(олодой) человек парализует его злодеяния. Он некоторое время сходится с Ламбертом. — В окончательном тексте оба, Версиков и Подросток, страстно влюблены в Катерину Николаевну Ахмакову, и мотив этот звучит почти с первых же глав романа.

Стр. 77. ...бежать в Америку...; и в другом месте (стр. 91): на проекты их (Америка, подметные грамоты) смотрит свысока... — В романе, в окончательном тексте, эта тема «бежать в Америку» осталась неиспользованной: у Подростка мелькнула только на одно мгновение мысль об Америке после того, как в игорном доме его обвинили в воровстве. В предыдущем романе, в «Бесах» (т. 7, стр. 147—149), где тема эта понадобилась как одна из причин разочарования Кириллова и Шатова в наиболее передовой форме буржуазной цивилизации, была использована книга П. И. Огородникова, под заглавием «От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию», вначале печатавшаяся отдельными статьями в № 4, 5, 6, 9, 11 и 12 «Зари» за 1870 г.

В «Подростке» у молодежи, стремящейся в Америку, этих «идейных» соображений уже нет.

Идеологическая концепция Достоевского ясна: есть только две формы общечеловеческой культуры — европейская и русская, по его убеждению — самая свободная, еще собирающаяся сказать свое слово, в котором должны объединиться все частные идеи, которые развивались западными народами. Макар Долгорукий, странник из народа, и есть символическая фигура для этого будущего «слова»; он один из лучших, избранных людей, истинный «князь», в романе он гордится своей фамилией, в то время как Аркадий, еще неустановившийся, вращающийся среди аристократов, «главенствующих» не по идее, а по «привилегии», ненавидит свою «княжескую» фамилию. К нему, к Макару, должны восходить и русские «частные» идеи, идеи долгушинцев, «коммунизм» в русском понимании. В «Бесах» основная группа революционеров, «коноводы», привезли свои идеи из Европы или из Америки, и все они, за исключением неуловимого Петра Верховенского, гибнут. Здесь же гибнет только Крафт, который (что опять характерно) в Россию не верит.

Факты! Как можно больше фактов! «Проследите иной, даже вовсе и не такой яркий, на первый взгляд, факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира» (т. XI, стр. 423). Так утверждал постоянно Достоевский свой реализм. В «Голосе», № 211, от 1 августа 1874 г., он прочитал изумительное известие: 315 семей, которые составляли целую общину, числом до 1500 человек, уехали через Гамбург в Америку. «Все эти переселенцы продали свои дома и хозяйство и отправились в другую часть света искать лучшей жизни». Это уже не «беспочвенная интеллигенция», а крестьянство, такие же странники, как Макар Долгорукий.

И в том же «Голосе», № 253, от 13 сентября 1874 г., письмо русского священника из Нью-Йорка о русских переселенцах: «Не проходит почти одной недели без того, чтоб русские, которые проживают в здешней стране, не обращались ко мне с просьбами о помощи или о приискании для них какого-нибудь занятия, чтоб обеспечить их существование от голода и бесприютности; при этом они постоянно высказывают *горькие жалобы на то, что обманулись в своих надеждах, и сердечное сожаление, что оставили свое отечество*. И вывод такой: «Всякому вообще русскому я могу лишь только *отсоветовать* переселяться в Америку!» Еще могут найти в Америке работу ремесленники, а учителя, писцы, счетчики и т. п. ничего не найдут. «Голос» печатает это письмо с целью обратить внимание «всех намеревающихся переселиться в Америку».

Стр. 80. *К преследуемому ребенку нежность. Убежал. Мальчик с птичкой.* — Первый набросок вставного эпизода о купце Скотобойникове, от которого мальчик убежал, испугавшись наказания за то, что случайно «разбил дорогую фарфоровую лампу»; бросился в воду и утонул: «прижал себе к обеим грудкам по кулачку, посмотрел в небеса (видели, видели!) — да бух в воду!» (т. 8, стр. 434—435).

Стр. 80. *Подробности у Анны Г-ны.* — У жены Достоевского Анны Григорьевны.

Стр. 80. *...истратить для нее несколько денег.* — Случайный эпизод в жизни Подростка, приехавшего в Петербург с идеей «стать Ротшильдом» и по «великодушию сердца его...», истратившего деньги для «злойной, сухой, брезгливой и требовательной» тетки.

Стр. 84. *Разговор о бароне-горбуне...* — Имеется в виду, очевидно, анекдот о том, как незадолго до французской революции явился в Париж некто Лоу с «гениальным» финансовым проектом, и акции его покупались нарасхват, до давки. Публика — «всех званий, состояний, возрастов; буржуа, дворяне, дети их, графини, маркизы, публичные женщины <...> всем жертвовали, <...> чтобы добыть несколько акций. <...> Негде было писать. Тут одному горбуну предложили уступить на время свой горб в виде стола для подписки на нем акций. Горбун согласился — можно представить за какую цену! Некоторое время спустя <...> все обанкрутились, все лопнуло, <...> акции потеряли всякую цену. Кто ж выиграл? Один горбун, именно потому, что брал не акции, а наличные лундоры» (т. 8, стр. 93—94 и стр. 648).

Стр. 84. *Разговор о ... острове на Балтийском море.* — Запись связана, по всей вероятности, с какой-то мечтой Подростка, еще в очень юные его годы, когда фантазия рисовала ему необыкновенное будущее, быть может, отдаленно восходящее к эпизоду в «Дон-Кихоте» с островом, который мечтал получить в управление Санчо Панса. См. ниже и другие записи.

Стр. 87. *Теперь безделья Россия ∞ старинное дворянство — помещики...* — Тема дворянства, его исторической роли и дальнейшей судьбы после того, как «в России все перевернулось», была в середине 70-х годов поставлена одновременно Толстым и Достоевским, по всем данным, как отклик на царский рескрипт от 25 декабря 1873 г., обращенный к дворянству с призывом «стать на страже народной школы». Рескрипт был опубликован во всех газетах, и сразу же началось его толкование в передовых статьях и фельетонах. В «Анне Карениной» вопрос о дворянстве волнует Константина Левина, который высказывает об идее аристократизма весьма ретроградные мысли. Стива Облонский продает купцу Рябинину лес на сруб и легкомысленно уступает ему 30 000 руб. Левин возмущен, с мошеником Рябининым обращается очень грубо. И дальше такой разговор: Облонский спрашивает Левина, отчего он не подал руки купцу Рябинину, и получает в ответ: «Оттого, что я лакею не подаю руки, а лакей во сто раз лучше». — «Какой ты, однако, ретроград! А слияние сословий?» — сказал Облонский. «Кому приятно сливаться — на здоровье, а мне противно». И дальше выясняется, что у Левина «зуб против этого Рябинина». «Мне досадно и обидно видеть это, со всех сторон совершающееся, обеднение дворянства». «Теперь мужики около нас скупают земли, — мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику». Но обеднение происходит потому, что скупают землю и разоряют дворян купцы и кулаки, — вот это-то и обидно Левину.

Барин, землевладелец, рад мужику, который работает и вытесняет праздного человека, однако он и с ним не сливается. Левин считает аристократами только себя и людей, ему подобных, которые в прошедшем могут указать на три-четыре честных поколения

семей, находившихся на высшей ступени образования. Мужик же образование вовсе не нужно, а с точки зрения барина — даже и вредно: «грамотный как работник гораздо хуже. И дорог почитать нельзя, а мосты как поставят, так и украдут» (Л. Н. Толстой, т. 18, стр. 179—180, 259).

В «Подростке» вопрос о дворянстве и его роли ставится иначе: принадлежность к дворянству определяется не «прошедшим», не «тремя-четырьмя поколениями», в прошлом «находившимися на высшей ступени образования», а делами и помыслами человека в настоящем, независимо от его происхождения. Причем Достоевский прямо исходит из этого злободневного факта оживленной полемики вокруг царского рескрипта о роли дворянства в народной школе. Наиболее реакционная часть помещичьего класса усмотрела в этом «новом признании дворянства к заботам о просвещении сословную привилегию». Московским дворянством составлен был адрес («Московские ведомости», 1874, январь, № 9), в котором было указано, что этим «призывом русского дворянства к участию в великом деле народного образования (...) одновременно полагается и начало обновлению самого учреждения о дворянстве», иными словами, это только первый шаг к восстановлению прежних дворянских прав. Рескрипт прямо ставился в связь с грамотой Екатерины II о волюности дворян. «Московские ведомости», напечатав этот адрес, так именно и истолковывали смысл царского рескрипта. Либеральничающий «Голос» возражал трусливо и туманно, пока не появился на помощь «Вестник Европы» со статьей в февральской книжке за 1874 г. «Вестник Европы» резко выступает против адреса московского дворянства и против «Московских ведомостей» — с основным положением, что дело здесь не в сословной привилегии: рескрипт обращается к дворянству лишь как к более культурной части общества. Доказывается это прежде всего тем, что самый-то класс дворянский у нас очень нестоек, поскольку уже издавна двери в него раскрыты для всех сословий. А с падением крепостного права уничтожен и последний политический оплот его. Кроме того, роль старых родов в землевладении все более и более слабеет, земля переходит в руки других сословий. В этом отношении, если и можно говорить о какой-то дворянской идее, то только как о силе нравственной, о силе духовной, но отнюдь не политической. Дворянские вождедения в связи с царским рескриптом, высказанные столь обнаженно в дворянском адресе и в «Московских ведомостях», показались настолько нетактичными, что даже такие консервативные органы печати, как «Русский мир» (1874, № 112 от 27 апреля) и «Гражданин» (1874, № XII), склонялись, скорее, к точке зрения «Вестника Европы» — внешне, во всяком случае.

Здесь разговор на эту тему ведется прежде всего, по всей вероятности, у Версилова с Крафтом, с явной ссылкой на газетную и журнальную полемику по поводу рескрипта. И здесь тот же голос возмущения, как и у Константина Левина по поводу продажи леса Рябинину.

В окончательном тексте эта же тема поставлена несколько абстрактно, факты злободневной действительности, очевидно, намеренно затупеваны. «Эта идея, — замечает Подросток, — очень волновала иногда князя». Устами Версилова утверждается, что «слово честь значит долг», что «исповедание чести» всегда имеется у главенствующего сословия и это «всегда почти служит связью и крепит землю». Но когда господствует одно сословие, то теряют все другие, не принадлежащие к этому сословию. «Чтоб не терпели — сравниваются в правах. (...) Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие открыты у нас уже слишком издавна; теперь же пришло время их отворить окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты».

Молодой князь Сокольский в высшей степени недоволен этой идеей: ему она кажется чем-то в виде масонской логи, полным отрицанием дворянства как класса. На что Версильов отвечает: «Ну, если уж очень того хотите, то дворянство у нас, может быть, никогда и не существовало» (т. 8, стр. 241—243), очевидно, в том смысле, что никогда оно не было собранием действительно «лучших людей». Мысль «Вестника Европы» выражена здесь гораздо резче, радикальнее. Версильовское дворянство напоминает скорее власть интеллигенции в системе Сен-Симона. Никаких привилегий, никакого «обновления самого учреждения о дворянстве». Речь идет только о силе нравственной, о силе духовной, об аристократизме ума и выпших душевных качеств.

Стр. 87. «Ну, а ваша идея об России и отчаяние за ее второстепенность». — Это первая запись, восходящая к историко-философским взглядам Чаадаева, которым Достоевский в период «Подростка» особенно интересовался не только как автором «Философических писем», но и как личностью. Еще в 60-х годах печатались в «Русском вестнике» воспоминания о Чаадаеве М. Н. Лонгинова («Русский вестник», 1862, ноябрь). В 1871 г., в 7-й и 9-й книжках «Вестника Европы» была опубликована М. И. Жихаревым его биография и там же (в 1871 и 1872 гг.) несколько чаадаевских рукописей. В это время уделяется большое внимание Чаадаеву и А. Н. Пыпиным в книге «Характеристики

литературных мнений» (статьи в «Вестнике Европы» 1871—1873 гг.). В эти же годы появляется много сведений о Чаадаеве и в «Русском архиве» («Русский архив», 1868, № VI, VIII; 1872, № VI. — Письма Н. И. Тургенева к П. А. Вяземскому и П. Я. Чаадаеву). Все это Достоевский читал; то, что печаталось в «Вестнике Европы» в 70-е годы, ему, безусловно, было известно. Его всю жизнь интересовал Чаадаев как замечательная личность, как тип; но прежде всего как мыслитель; это та же сфера вопросов, в которой пребывал и Герцен, и Белинский, и славянофилы, и он сам, Достоевский. Славянофилами взят у Чаадаева самый принцип философии истории: объяснять весь ход развития человечества с точки зрения воплощаемых в нем идей христианства, хотя, с точки зрения славянофилов, только православная церковь сохраняла в чистоте и неприкосновенности идею христианства и только русский народ осуществлял в своей истории эту идею в прошлом и осуществит ее в будущем в общечеловеческих размерах. Но к Чаадаеву более позднему, эпохи 40-х годов, восходит и основа мировоззрения Герцена, эта главная мысль его о том, что у русского народа есть два великих преимущества перед западными: незасоренность психики («русский человек — самый свободный человек в мире») и возможность сразу использовать все культурное богатство, накопленное Западом. Чаадаев первый увидел в этом залог исключительного призвания русского народа, залог того, что этот народ служит хранителем особенного всемирно-исторического начала. Герцен снял с этих мыслей их религиозный покров, перевел на язык социологии и психологии: чаадаевскую «чистоту христианской идеи» («православие») заменил бессознательным социализмом (общиной) и широкостью размаха русской души. И Достоевский, конечно, знал об этой преемственности. Он был в Париже в 1862 г., когда там вышло собрание сочинений Чаадаева вместе с его «Апологией сумасшедшего», в которой эта историческая концепция о всемирном значении русского народа была высказана вполне ясно. И тогда же виделся с Герценом (см. статью Долинина «Достоевский и Герцен» в кн. «Последние романы Достоевского». Л., «Сов. писатель», 1964). Был Достоевский за границей и в 1863 г., а в 1867—1871 годы жил там безвыездно. Не подлежит поэтому никакому сомнению, что он, безусловно, знал «Былое и думы» и «Развитие революционных идей в России» Герцена, где дан такой прекрасный образ Чаадаева. Об этой преемственности между идеями Чаадаева и Герцена напомнил, наконец, Достоевскому и Страхов в своей книге «Борьба с Западом в нашей литературе», с мыслями которой Достоевский был совершенно согласен. Страхов утверждает, что Герцен в статье «Еще из записок молодого человека» в лице Трензинского изобразил Чаадаева, «к которому автор относится с величайшим сочувствием», и что Чаадаев вообще имел большое влияние на образ мыслей Герцена (Н. Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе, кн. 1. СПб., 1887, стр. 4).

Герцен, Белинский, Грановский и рядом с ними почти всегда Чаадаев — так сочетаются они все вместе у Достоевского как люди одной эпохи и, в основе, в целом ряде пунктов одних и тех же воззрений. О Чаадаеве, как и о Белинском, еще в 1863 г. в «Зимних заметках о летних впечатлениях», написанных под особенным влиянием Герцена: «В жизнь мою я не встречал более страстно-русского человека, каким был Белинский. Хотя до него только раз один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское» (т. 4, стр. 67). В том же сочетании упоминается Чаадаев и в «Бесах»: «Его имя <Степана Трофимовича Верховенского.—А. Д.> многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена» (т. 7, стр. 8). В 1870 г. образ Чаадаева замелькал перед Достоевским и в художественном плане, как личность, как определенный тип, в связи с замыслом поэмы о «Житии великого грешника». Так, пишет он Майкову 25 марта 1870 г. («Письма», т. II, стр. 264): «13-летний мальчик <...> будущий герой всего романа. посажен в монастырь родителями и для обучения <...> Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например, за границей, на французском языке, брошюру, — очень и могло бы быть что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, наприм(ер) Грановский, Пушкин даже». Подробность, что Чаадаева «свидетельствовали доктора каждую неделю», Достоевский мог, по всей вероятности, узнать еще в 40-х годах в кружке Белинского или у Герцена, из его «Развития революционных идей в России», из «Былого и дум» (биография Чаадаева, написанная Жихаревым, была опубликована позже — в 1871 г.). Но, как было уже указано, «Житие» генетически связано с замыслом романа об атеисте, идеи которого частью переданы Версикову. И к «Житию», к главному его герою, как мы знаем, восходит и образ Подростка. Так тяготеют они все к какой-то общей сфере мыслей и чувств, составляют единую систему образов.

В письме к Майкову, где говорится о начальном замысле «Жития» в самом его зародке, Чаадаев и главный герой будущего романа, мальчик, который вскоре станет подростком, соединены лишь во времени и пространстве. Однако роль, очевидно, предназначалась Чаадаеву довольно сложная... Так, Белинский, Грановский и «Пушкин даже» могут встретиться с 13-летним мальчиком в монастыре лишь случайно, как

неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы» (П. Я. Чаадаев. Сочинения и письма. Под ред. М. Гершензона, т. II. М., 1914, стр. 109, 113, 115).

Тот же отклик мыслям Чаадаева находим в словах Версилова (тоже в черновиках): «Свободно думающих или действующих в России я <...> не допускаю: все лакеи, слышишь, лакеи, а не рабы. Русская смелость если и проявится где, то это лишь наглость легкая, при беспрерывной трусости за самого себя: как ступить, что сделать» (стр. 209). И в другом месте еще яснее заодно с Чаадаевым: «Он <Версильов> прямо считает, что самостоятельность русских как народа и русских как личностей — невозможна и что это дело доказанное» (стр. 263). Доказано именно у Чаадаева, когда он говорит, что участие русского народа «в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто неисканным подражанием другим нациям <...> Некогда великий человек (Петр I) захотел просветить нас, и для того, чтобы приохотить нас к образованию, он кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения». «В нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу. И, в общем, мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным муруком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять». (Там же, стр. 114—117). Одно из самых главных положений Чаадаева, может быть, даже самое главное, которое он кладет в основу своего пессимистического отношения к России, это то, что у русского народа «вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего...» Об этом же Версильов говорит в одном месте короче: «У нас, у русских, нет честных воспоминаний, а какие были, те мы с любовью обесценили и отвергли» (стр. 209).

Когда Достоевский писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях», что «только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо <...> негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирая все русское», то он имел в виду его первое «Философическое письмо», где все преимущества западных народов перед русским объясняются только идеей христианства, воспринятой ими в форме именно католической деятельной церкви, единственно деятельной. Так в одном месте Достоевский и характеризует Версильова: «Рядом с католическою ограниченностью, деспотизмом и нетерпимостью, рядом с презрением к своей земле есть упорство, почти энтузиазм в преследовании идеи, во взгляде на мир».

Этим энтузиазмом и упорством в преследовании идеи, во взгляде на мир письмо Чаадаева проникнуто насквозь.

И дальше — черты личного характера. Про Версильова сказано в черновиках 6 октября: «Рядом с высочайшею и дьявольскою гордостью (нет мне судьбы) есть и чрезвычайные суровые требования к самому себе, с тем только, что никому не даю отчету. Наружная выработка весьма изящна: видимое простодушие, ласковость, видимая терпимость, отсутствие чисто личной амбиции. А между тем все это из надменного взгляда на мир, из непостижимой вершины, на которую Он сам самовластно поставил себя над миром» (стр. 205).

Это почти точно совпадает с портретом Чаадаева по Жихареву. Чаадаев на людях и с людьми, как и у себя в кабинете, горд, тонко умен и глубоко проницателен. Презирая людей, он в то же время, если захочет, умеет быть ласковым; любовь и обожание он принимает как должное, особенно со стороны женщин, но взаимностью никому не отвечает. Чаадаев «чудовищно эгоистичен», иногда позволяет себе поступки, настолько сомнительные, что заставляют подозревать его даже в неискренности проповедуемых им идей. И все же, несмотря на все эти недостатки, Чаадаев обаятелен; от него исходит какая-то покоряющая сила как от носителя высокой мысли; его принимают таким, как он есть, ему ничего не ставится в укор.

Про Версильова в одной из черновых записей сказано: «Подросток мучается от Его замкнутости, гордости, загадочности и *бесчеловечности*, нелюбовности к людям»... «эгоист и гордец, который никого не любит» (стр. 238). С этой чертой крайнего эгоизма проходит Версильов по всему роману.

Подчеркивается в романе несколько раз, что Версильов прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупных. Но он продолжает жить со множеством прежних довольно дорогих привычек; брюзжит ужасно, и все приемы его совершенно деспотические. Мать, сестра, тетка и все семейство Андроникова, состоявшее из бесчисленных женщин, «благоговели перед ним, как перед фетишем». Тетка здесь особенно выделяется. О ней говорится, что она всегда откуда-то появлялась, когда ему только нужно было. Сморела за его именем. Когда он, прожив три наследства, оказался без копейки, она потратила на него половину из последних своих пяти тысяч. Словом, она служила ему, как раба, преклонялась перед ним, как перед папой. И дальше — его внешний портрет. Обаяние его вообще неотразимое. Он чрезвычайно красив. Подросток особенно подчеркивает изящные его манеры, его исключительное умение одеваться. Его оригинальный проницательный ум, хотя и едкий, делал его украшением известного круга московского высшего общества, в котором он с влиятельными людьми «особенно умел во всю жизнь поддерживать связи».

Все это почти детально совпадает с тем, что говорится о Чаадаеве в его биографии. Жихарев с эгоизма и начинает: «Украшая собою известный круг знакомства, он, в то же время, делался в нем довольно тяжелым, давая волю своему эгоизму до несносности». Через страницу: «Этот эгоизм <...> к концу его жизни получил беспощадный хищный характер, сделал все без исключения близкие, короткие с ним отношения тяжелыми до нестерпимости и был для него самого источником многих зол и тайных, но несказанных нравственных мучений». Биографу это «жестокое немилосердное себялюбие» кажется врожденным, но оно «особенно тщательно было в нем возделано, взлелеяно и вскормлено сначала угодливым баловством тетки, а потом и баловством всеобщим». Дальше, в другом месте сказано, что перед ним благоговели: тетка заботилась во всю жизнь, его благосостоянии, поддерживала его, когда он растрачивал свои богатые наследства и впадал почти в нужду.

Чаадаев начал свою молодость как один «из наиболее светских, а может быть, и самых блистательных из молодых людей в Москве»; он был очень красив, своенравен и горд. Когда он окончил университет и поступил в гвардейский полк (кстати, Версильов тоже по окончании университета поступил в тот же полк), сослуживцы по гвардейскому корпусу его прозвали *le beau Tchaadaef*. Его охотно принимали в самом высшем свете, где он пользовался глубоким и безусловным уважением, как человек замечательно образованный, чрезвычайно находчивый в разговоре и гениально-умный. Рассказывается у Жихарева подробно и об его изящных манерах и об его одежде.

И еще несколько совпадений. Крафт рассказывает Подростку историю Версильова с Лидией Ахмаковой. Это была «болезненная девушка, лет семнадцати, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности». Версильов проповедовал тогда «какую-то новую жизнь, был в религиозном настроении высшего смысла». Болезненная девушка «влюбилась в Версильова, или чем-то в нем поразились, или воспыланием к его речи». Версильов говорит о ней, что это была не женщина, с глубоким страданием и нежностью называет ее несчастной.

Этот эпизод с Лидией Ахмаковой, в романе, в сущности, совершенно лишний, находит себе полную аналогию в биографии Чаадаева. Жихарев так об этом рассказывает: когда Чаадаев вернулся из-за границы, одержимый уже своей религиозной идеей, в него влюбилась молодая девушка из одного соседнего семейства. «Болезненная и слабая, она <...> нисколько не думала скрывать своего чувства, откровенно и безотчетно отдавалась этому чувству вполне, и им была сведена в могилу <...> Не знаю, как он отвечал на эту привязанность <...> но перед концом он вспомнил про нее, как про самое драгоценное свое достояние, и пожелал быть похороненным возле того нежного существа, для которого был всем».

Жихарев говорит: о том, как Чаадаев был избалован женщинами, можно было бы исписать несколько страниц. На женщин особенно действовала его речь, внешне холодная, за которой, по выражению Герцена, ощущалась «страсть под ледяной кожей». И к ним, к женщинам, он, очевидно, охотнее всего обращался. Из его писем, опубликованных в том же «Вестнике Европы», Достоевский мог узнать, что первое его «Философическое письмо» с проповедью религиозных воззрений действительно было адресовано женщине, по фамилии Панова, отношения с ней Чаадаева Лонгинов называет «близкой приятной»: «Они встретились нечаянно. Чаадаев увидел существо, томившееся пустотой окружавшей среды, бессознательно понимавшее, что жизнь его чем-то извращена, инстинктивно искавшее выхода из заколдованного круга душившей его среды». Злые языки могли бы и Чаадаева назвать «бабьим пророком», как называют в «Подростке» Версильова.

В окончательном тексте Версильов, его роль проповедника рисуется намеренно пародийно в легкомысленных словах старого князя Сокольского: «Верить ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист: что, дескать, едим, об чем мыслим? <...> Пугал и очичал: „Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи?“ Почти это и требовал <...> Это все после трех лет его за границей с ним произошло. И, признаюсь, меня очень потряс... и всех потрясал... <...> Он там в католичество перешел <...> Он вериги носил» (т. 8, стр. 41—43).

В черновиках эта роль проповедника представлена в плане очень серьезном. Катерина Николаевна Ахмакова рисуется там, вначале, как и Панова, женщиной, тоже «томившейся пустотой окружавшей среды, бессознательно понимавшей, что жизнь ее извращена, инстинктивно искавшей выхода». И Версильов, только что обретший «новую истину» (перешел в католичество, стал носить вериги), тоже, как и Чаадаев, был увлечен «непреодолимым желанием подать ей руку помощи, объяснить ей, чего именно ей недо- ставало, к чему она стремилась невольно, не определяя себе точно цели». По одной черновой записи, проповедь его настолько на нее подействовала, что она решила уйти в монастырь (см. стр. 159).

К факту же из биографии Чаадаева восходит, быть может, отказ Версильова от дуэли с молодым Сокольским, как говорит Подросток, «по каким-то там своим убеждениям» — разумеется, конечно, по этим новым, религиозным, к которым он только что пришел за границей. Жихарев рассказывает, как одно довольно знатное лицо предложило Чаадаеву дуэль, и он отказался от нее, приводя причиной отказа правила религии и человеколюбия и простое нежелание.

Итак, по мысли Достоевского, Версилова и Чаадаева объединяет многое: гордость, пренебрежение к людям, чудовищный эгоизм при огромном уме и замечательном остроумии; та же роль в обществе, те же манеры, обилие одинаковых фактов биографических и, главное, повторям, та же основная идея, та же эволюция ее и те же доказательства идеи. Все это свидетельствует о несомненном интересе Достоевского к Чаадаеву как к мыслителю в продолжении всей жизни, а в плане художественном, как к типу, — в «Житии великого грешника», а затем — в «Подростке».

Стр. 87. *Важ непременно наскучит: вы — не Мак-Магон.* — Маршал Мак-Магон — президент Французской республики, о продлении власти которого на 7 лет было только что (в ноябре 1873 г.) постановлено. В статье, посвященной обзору иностранных событий, напечатанной в «Гражданине», № 38, от 17 сентября 1873 г., Достоевский пишет о Мак-Магоне в таком комическом тоне: «Маршал Мак-Магон, „старый маршал“, „честный маршал“, „храбрый маршал“, „честный старый солдат“ и т. д. и т. д., до самого 24 мая сего года был, конечно, всем известным в Европе лицом, но только с одной, весьма ограниченной стороны. Он служил, он дрался, он отличился, и когда надо было, об нем всегда объявляли в газетах, но равно столько же, сколько и о других служивших и отличившихся маршалах. (...) И вот вдруг, столь много и столь обыкновенно известный маршал Мак-Магон, с 24 мая, т. е. с выбором его в президенты Французской республики, (...) становится необыкновенно известным, громадно, колоссально известным». Ему льстят, без конца повторяют все эти лестные эпитеты, но ни разу не называют его „умным маршалом“. И он действительно не умен, довольствуется настоящим, дутой славой, не понимая того, что, когда придет время, у него сбереженное им, как „храбрым солдатом“, отберут, ему откланяются, и он будет этому рад, потому что „храбрый маршал“, „честный маршал“, „честный, храбрый старый солдат“ (т. XIII, стр. 370—371).

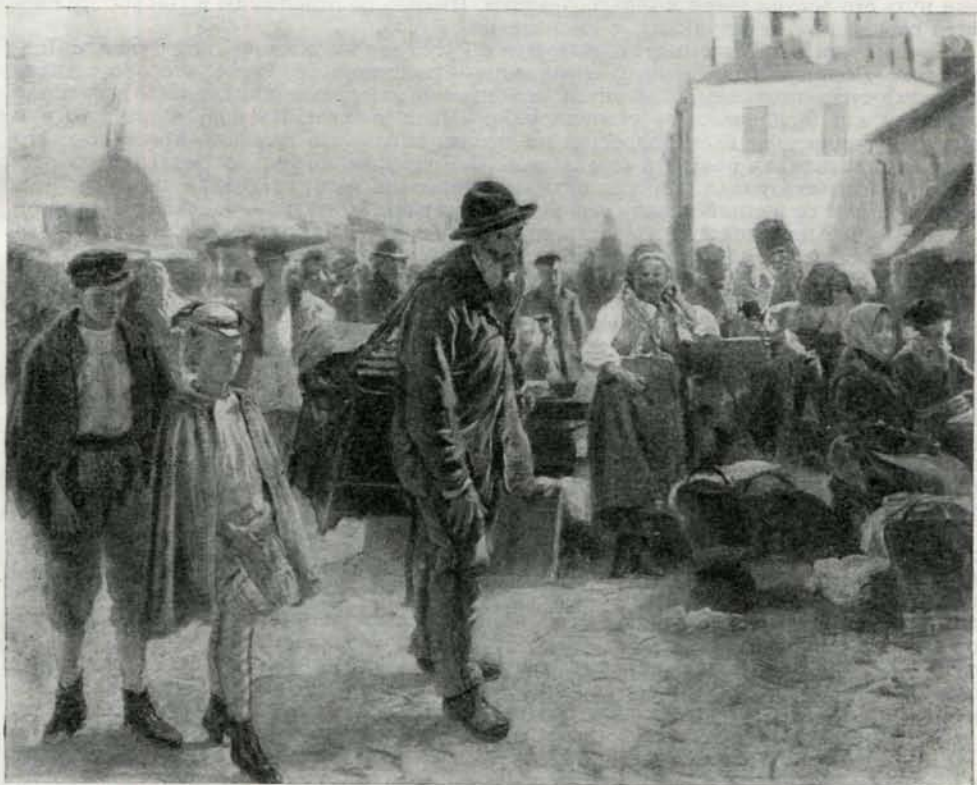
Стр. 87. *«Русский Мир», около 10 июля <18>74.* — 12 июля в «Русском мире» (№ 188) было напечатано письмо, в котором сообщалось: «10 июля, часов около 9 вечера, мне пришлось сопровождать знакомую даму по Фонтанке, от так называемого Египетского моста к Измайловскому, где находилась ее квартира. Не доходя до дому, мы увидели далеко впереди себя сильно пьяного человека, еле державшегося на ногах, который, идя около решетки по Набережной, кидался на всех проходивших женщин и ругал их самыми площадными словами. Желая оградить себя от всякой неприятности, (...) я поспешил перейти на противоположную сторону, но пьяный молодой человек (...) перешел вслед за нами и начал толкать и браниться (...) Дама моя страшно перепугалась; но помочь беде было трудно (...) Когда же мы стали подыматься на ступеньки подъезда, то пьяный герой начал страшно бранить меня и даже схватил за пальто; тогда я (...) закричал городовому (...) Услышав мой зов, пьяный как-то сразу несколько отрезвился и просил пустить его и „не делать скандала“, потому что он — студент университета. Сдав этого студента, я просил городского свести буяна в участок (...) Но каково же было мое удивление, когда я увидел из окна, что городской тотчас пустил пьяного, пожав ему руку!.. Тот пошел по направлению к Вознесенскому проспекту и продолжал накидываться на проходивших, чему так усердно смеялся блюститель порядка, которому вторила ватага извозчиков...».

Стр. 89. ... *женевские идеи* — идеи, восходящие к общественно-политическим и моральным взглядам Жан Жака Руссо. Его сочинения: «Способствовало ли возрождение наук и искусство улучшению нравов» (1750), «Рассуждение о происхождении и основах неравенства между людьми» (1754), «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1764), «Новая Элоиза», «Эмиль» и другие — оказывали огромное влияние на всю человеческую мысль в течение не только второй половины XVIII, но и XIX в.; в известном смысле его идеалы, его идеи живы и по сию пору. Французская революция конца XVIII в. идеологически была обязана ему, его «Общественному договору» больше, чем кому-либо из энциклопедистов: Вольтер, Монтескье, Дидро, Даламбер, Гельвеций и другие, восстав против феодального господства и клерикальной опеки, подготовляли ниспровержение этого строя, но, вместе с тем, ничуть не мешали, в известной мере и способствовали, подготовке для народа новых господ и новых опекунов. А Руссо не только не положил ни одного камня для возведения буржуазного господства, но даже подготовил борьбу и с этой новой формой общественного неравенства и народного порабощения. В этом отношении Руссо, может быть, единственный, кто из мыслителей той эпохи идеями своими принимал такое непосредственное прямое участие в общественной борьбе и великих исторических событиях, наполняющих собою весь XIX в. Фихте, Песталоцци, Фурье и Луи Блан, Гарибальди и Линкольн, Герцен, Лев Толстой, революционные народники, все деятели демократического движения, защитники «естественного права против права исторического», — все исходили из принципа личности и ее свободы, идеи народа как добровольного, сознательного единения личностей — именно из цикла тех идей, которые являются главным, основным в проповеди Руссо. Энгельс в «Развитии социализма от утопии к науке» говорит о связи идей утопического социализма с идеями Руссо.

Из всей системы «женевских идей» Достоевский в данном случае имеет в виду лишь то, что входит в состав учения Руссо о морали, о «человеколюбии», т. е. «добродетели

без Христа». И «Он», будущий Версиплов, «не признает в добродетели ничего натурально-го». Руссо выводит нравственное начало из совести, из внутреннего чувства любви ко всем, имеющегося в природе человека. Что инстинкт для тела, то, в его глазах, совесть для души. Этим нравственным началом и определилось его отношение к христианству. На вопрос (в романе «Новая Элоиза») к Сен-Пре, выразителю идеалов Руссо: «Вы христианин?» — он отвечает: «Я стараюсь быть им». Характерно, что положительный герой в «Бесах» Шатов почти так же отвечает на вопрос Ставрогина, верит ли он в бога. Руссо относится к Христу благоговейно, поскольку христианство ставит на первом месте начало любви. Любовь для Руссо выше церкви, к догме он относится скептически. Признавая совершенным все, что выходит из рук природы, Руссо ищет происхождения зла в человеке, точнее — в его истории. Зло человек получил не от природы, а сам его себе создал: отбросьте пагубный прогресс, отбросьте ваши страсти и пороки, отбросьте дело человека — и все будет хорошо. Любовь к людям — не долг, не веление свыше; она вытекает из любви к себе, из потребности удовлетворять свое чувство совести. Любовь к ближнему есть, таким образом, «нравственный, истинный эгоизм, переступающий за черту индивидуальных интересов. Действует, конечно, каждый только ради своего блага. Но в природе его существует нравственное благо (совесть), и им же человек и руководится в своей общественной жизни» (о Руссо, кроме указанной выше книги Энгельса, см. Г. В. Плеханов. Ж.-Жак Руссо и его учение о происхождении неравенства между людьми. — Г. В. Плеханов. Соч., т. 18. М.—Л., 1925; Р. Роллан. Ж.-Жак Руссо. — Р. Роллан. Собр. соч. в 14 томах, т. 14. М., 1958).

Стр. 89. *Унгерн-Штернберг*. — В некрологе, напечатанном в № 207 «С.-Петербургских ведомостей» 31 июля 1872 г., сказано следующее: «Покойный барон, принадлежавший к одной из лучших фамилий Прибалтийского края и занимавший когда-то должность эстляндского губернского предводителя дворянства, отличался большою оригинальностью и горячностью характера. Посетив Америку, он увлекся быстротою сооружения там железных дорог и желал попробовать в России что-либо подобное. Более двадцати лет существовал проект железной дороги из Одессы в Парканы на



ШАРМАНЩИК

Этюд В. Е. Маковского к картине «Толкучий рынок в Москве» (масло), 1879 г.
Третьяковская галерея, Москва

Днестре <...> Барон Унгерн-Штернберг вызвался построить эту дорогу по американской системе, т. е. дешево. Система была не совсем американская, потому что основывалась на обязательном труде; предложение, однако, было принято. Барон работал с усердием, дело подвигалось сначала плохо, изыскания были сделаны очень дурно, штрафные солдаты работали небрежно и служили только для наживы командиров рабочих бригад, но кое-как дорогу достроили. Когда оказалось, что на некоторых станциях нет вовсе воды, барон придумал возить воду с обратными вагонами, идущими из Одессы наполовину пустыми, и обошел, таким образом, затруднение. За эту дорогу, превратившуюся в Одесско-Балтскую, он построил дороги Кишиневскую, Балто-Елисаветградскую, Елисаветград-Кременчугскую, Кременчуг-Харьковскую и начал Николаевскую (от Знаменки в Николаев). Все эти дороги строились уже не по американской системе и потому обошлись вдвое дешевле. Во всяком случае, за бароном Унгерн-Штернбергом всегда останется неотъемлемая заслуга, что он первый возбудил на юге вопрос о железных дорогах, энергично провел его сквозь все препятствия, между которыми сильнейшие возбуждало путейское ведомство. Его деятельность одно время наполняла периодическую печать ожесточенной полемикой. В первую половину 60-х годов появилось особенно много статей об его проектах и способах их осуществления. Несколько статей, посвященных строительству дорог под руководством Унгерн-Штернберга, имеется и в журналах Достоевского (см. «Время», апрель 1863 г. — об Одесско-Балтской железной дороге; «Эпоха», 1864, № 8 и 12 — «Наши домашние дела»; см. также А. А. Скалковский. Биография Одесской железной дороги. Одесса, 1865; «История железнодорожного дела в России». — В «Сборнике государственных знаний». СПб., 1875—1876 гг.).

Стр. 90. *Как Руссо, находил наслаждение загаливаясь...* — В окончательном тексте это относится к рассказу Версильева об его отношениях с матерью Подростка, и Подросток возмущен циничностью его тона. «Исповедь» Руссо неизменно была в памяти Достоевского во время его работы над романом и, главным образом, в процессе создания центральной его фигуры — Аркадия Долгорукого, который, подобно Руссо, тоже рассказывает о себе и о себе и тоже о жизни своей с самого раннего детства, чтобы ясен был путь его восхождения к «благообразию». Именно по отношению к Подростку имеются совпадения, в ситуациях, с «Исповедью» Руссо.

Гравер, учитель Дюкоммен, обращается к Руссо так же жестоко, как Тушар с Подростком. Беспрекословное дурное обращение, — рассказывает Руссо, — скоро сделало его менее чувствительным... Он считал, что бить его, как мошенника, значило давать ему полное право быть им... Он говорил себе: «Меня побьют. Пускай: я для этого и создан». Тушар тоже бьет Подростка по щекам, пинает его коленом, превращает его в лакея, приказывая подавать себе платье. И Подросток не только подавал ему одеваться, а сам схватывал щетку и начинал счищать с него последние пылинки, сам гнался за ним со щеткой в пыль лакейского усердия. «Тушар, — поясняет Подросток дальше, — бил меня и хотел показать, что я — лакей <...> и вот я точно же сам вошел тогда в роль лакея: „Коли захотели, чтоб я был лакей, ну так вот я и лакей, хам — так хам и есть“» (т. 8, стр. 364—365).

Руссо подробно говорит об одном из «кажущихся» своих противоречий, состоящем в том, что «чувство почти отвратительной скупости соединено в нем с полнейшим презрением к деньгам». Он скуп потому, что «обожает свободу, ненавидит стеснение, нужду, подчинение». Деньги сохраняют ему независимость. Так же мотивирует свою главную идею о богатстве и Подросток. Подросток, несмотря на свою «идею», не может не останавливаться перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовать ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для «идеи». Руссо рассказывает в одном месте про себя то же самое: при всей скупости, не позволяющей тратить свои деньги, как только представляется случай, он так хорошо пользуется им, что кошелек его опустошается прежде, чем он это заметит.

Руссо влюблен во вдову Луизу-Элеонору де Варанс; она старше его годами и гораздо выше его по своему общественному положению. Дается ее портрет: у нее лицо, исполненное грации, прелестные голубые глаза, проникнутые кротостью, ослепительный цвет лица, восхитительные очертания груди. Волосы пепельного цвета, которые она причешивает как-то небрежно. Она не велика ростом: зато ничто не могло сравниться с красотой ее головы, груди и руки. Особенно подчеркивается ее улыбка, «ангельская улыбка». И дальше рассказывает Руссо о своих любовных «сумасбродствах»: сколько раз целовал он кровать при мысли, что она прежде спала в ней, занавески, мебель в его комнате при мысли, что к ним прикасалась ее прелестная рука, наконец, даже пол, на который он падал с мыслью, что она по нему ходила!

А Подросток в страстной речи к Ахмаковой: «Я не могу больше выносить вашу улыбку! <...> Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие <...> У вас глаза не темные, а светлые <...> Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая, полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское <...> ясное, смелое, смеющееся и... застенчивое лицо! <...> Еще я люблю, что с вас не сходит улыбка: это — мой рай! <...> У вас грудь высокая, походка легкая, красоты вы необычайной, а гордости нет никакой» (т. 8, стр. 275, 276). И он «готов был

броситься и целовать то место на полу, где стояла ее нога»... Однако, как будет дальше показано, все эти параллели отнюдь не свидетельствуют о том, что только с Руссо, с его «Исповедью» связана форма «Подростка», «записки от себя».

Стр. 90. 200 000, и он отдал назад (Щелков)... Сюда запись на этой же странице: как Щелков, выиграл наследство... — Трудно сказать, о каком Щелкове (очевидно, хорошо знакомом Достоевскому) идет здесь речь. Может быть, этот «благородный поступок», к которому восходит эпизод с возвращением молодому князю Сокольскому большого наследства, выигранного Версильовым у него на суде, был совершенно действительно одним из приятелей Достоевского еще с 40-х годов, человеком великодушным, Алексеем Мириевичем Щелковым (род. в 1825 г.), прикосновенным к делу петрашевцев. Друг Дурова и Пальма, он жил с ними на одной квартире, бывал довольно часто на пятницах Петрашевского и чаще всего должен был встречаться с той левой группой (семеркой), к которой принадлежал и Достоевский. Кандидат Харьковского университета, он с 1846 г. служил в канцелярии петербургского военного губернатора. Арестован 23 апреля 1849 г. вместе с другими петрашевцами, выпущен 6 июля того же года с отдачей под секретный надзор. Среди бумаг по «Делу петрашевцев» находится письмо к Щелкову А. Н. Плещеева с денежной просьбой («Дело петрашевцев», т. III, М. — Л., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 296).

Стр. 90. Русский тип, художественность сообщительности с директором соляных дел и проч. — В окончательном тексте об этом идет речь во 2-й главке 1-й главы второй части, где имеется сопоставление двух типов рассказчиков: человека «с добрым сердцем», «идеалиста», натуры поэтической — возвышенно патристическими рассказами своими о камне у Павловских ворот, министре Чернышеве, купце Завьялове и т. д. он хочет ослепить слушателя — и типа прозаического, всегда противоречащего «весь хандра и проза»: «Не дам соврать, где, когда, в котором году? — одним словом, человек без сердца»... Конкретный случай: рассказ квартирного хозяина Подростка о мешанине с бородкой, который «переплюнул» англичан своей находчивостью и этим страшно понравился князю Суворову Итальянскому. Его неудержимое желание — «патристически» соврать с целью «осластить своего ближнего» — обобщается в некую черту, свойственную всем людям, страдающим «невоздержанностью сердца» своих, — это романтики, люди же противоположного типа — низменные реалисты.

Может быть, для повести Козлову. — Павел Алексеевич Козлов (1841—1891) — поэт, печатался в журнале «Заря», «Русском вестнике», «Вестнике Европы» и др. Известен как переводчик Байрона. Как видно из письма к нему Достоевского от 1 марта 1875 г. («Письма», т. IV, стр. 304—305), Козлов собирался издать какой-то сборник, и по этому поводу у них возникла переписка. Месяц «февраль» должен быть отнесен не ко всем записям на этой странице, а только к записи на левом поле и обозначает время пересмотра материалов, написанных гораздо раньше, около года назад.

Стр. 92. ... все рассказывает, как загаливался (страшное простодушие, Валиханов, обаяние)... — Чокан Чингисович Валиханов (Достоевский называет его «Чеккан Чолканович») — выдающийся казахский просветитель, известный этнограф, в 1858 г. совершивший смелое путешествие в Кашгар, которое чуть не стоило ему жизни. Достоевский познакомился с ним, по всей вероятности, еще в Омске, где Валиханов по окончании в 1853 г. Омского кадетского корпуса поступил младшим офицером в Сибирское линейное казачье войско. В 1856 г. Валиханов был в Семипалатинске, и там они подружались. Достоевского, человека с крайне сложной, изломанной психикой, потянуло к простоте и ясности здоровой и цельной натуры Валиханова, сохранившего нетронутым свой душевный строй при вполне европейском образовании. Валиханову был тогда 21 год. Талантливый, остроумный, с пылкой фантазией, он всех пленял своим обаятельным простодушием, необычайной мягкостью сердца, крайне смелым и решительным характером. «Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам», — пишет ему Достоевский в письме от 14 декабря 1856 г. («Письма», т. I, стр. 200—202). Он называет его «дорогой мой друг, милый», «судьба же вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дав вам и душу и сердце». И в таком же тоне о нем — через три года, в письме к Врангелю от 31 октября 1859 г. (там же, стр. 279), когда Валиханов по возвращении в 1859 г. из кашгарского путешествия очутился в Петербурге с целью поступить в университет: «Валиханов премильный и прелезательный человек...» Я его очень люблю и очень им интересуюсь». В 1860 г. они стали опять лично встречаться; литературный кружок Достоевских принял Валиханова очень радушно.

В характере Валиханова за эти пять лет произошла некоторая перемена. Один из первых его биографов, Н. М. Ядринцев («Сибирский вестник», 1866, № 3), сообщал, что военная среда, в которой вращался Валиханов в Омске и в Петербурге, увлекала его светским лоском и праздною гусарскою жизнью. Н. М. Ядринцев говорит о подобном же влиянии на Валиханова некоторых членов из кружка Достоевского, в частности Всеволода Крестовского, которому Валиханов во время гусарских разговоров давал шутя темы для его испанских стихотворений, а сей поэт, питаясь крохами остроумия талантливого Валиханова, немедленно строчил свои романсы. В этих

«гусарских разговорах» всегда ощущалась разница между человеком такой душевной чистоты, как Валиханов, и человеком, в основе своей нравственно нечистоплотным, каким был Всеволод Крестовский.

Стр. 94. *Идея: «Отцы и дети» — дети и отцы. Ибо сын, намеревающийся быть Ротшильдом, — в сущности идеалист, т. е. новое явление как неожиданное следствие нигилизма.* — Смысл этой записи, с точки зрения исторической последовательности идейно-общественных течений второй половины XIX в., полностью совпадает с основной мыслью статьи Н. К. Михайловского, на которую мы выше сослались (см. комментарий к стр. 73). Подросток со своей идеей «стать Ротшильдом» находится как бы в промежутке между теми, которые мучились над выработкой «низких истин» нигилизма и страдали от несоответствия их внутреннему идеалу, и «трезвыми», которые пришли и подобрали «краткие и ясные формулы и пустили их в оборот, навесили на них всевозможные грязные попользования, всяческую низость, всякое совсем не подходящее нравственное тряпье, подобранное ими на заднем дворе практической жизни».

Стр. 95. *...отмстить всем обидчикам ~ того офицера, который толкнул его на улице.* — В окончательном тексте к этой записи, отдаленно, восходят два эпизода с полковником, бароном Бьорингом: в первом эпизоде обидчик Бьоринг сильною рукою схватил Подростка за плечо, злобно оттолкнул его, так что он отлетел шага на три (т. 8, стр. 350). Обида осталась неотомщенной. Второй раз в драке, которую начал Подросток (он первый ударил Бьоринга, причиной была не месть, а обида за сестру (см. т. 8, стр. 599). В обоих случаях психология мести отсутствует, поскольку Подросток весь в вихре других поглощающих его переживаний с Ахмаковой.

Психология мести обидчику-офицеру разработана весьма подробно в повести «Записки из подполья», которая безусловно была в памяти Достоевского во время работы над этим романом, поскольку Подросток в споре с дергачевцами (см. т. 8, стр. 62—66) полностью повторяет мысли героя из подполья.

Стр. 95. *Знает анекдоты вроде о Ротшильде, нажившем миллионы именно потому, что за несколько часов раньше других узнал о смерти герцога Беррийского и проч.*

Герцог Беррийский — второй сын Карла X, кандидат на французский престол, вместе с отцом эмигрировавший из Франции в 1789 г. После реставрации в 1814 г. герцог возвратился в Париж. 13 февраля 1820 г. он был убит в подъезде театра рабочим Лувелем, с целью искоренения рода Бурбонов. Но здесь у Достоевского несомненная ошибка. Убийство герцога Беррийского, в сущности, не оказало сколько-нибудь заметного влияния на положение страны, Ротшильд же использовал известие о поражении Наполеона при Ватерлоо (в 1815 г.), что окончательно укрепило реставрацию Бурбонов. При них, в тесной связи с государственными займами, и расцвел банкирский дом, основанный Ротшильдом в Париже. Джеймс Ротшильд был одним из тех лиц, без совета с которыми не предпринималось ни одной крупной государственной меры (см. о Ротшильдах: Е. Соловьев. Ротшильды, их жизнь и капиталистическая деятельность, СПб., 1894).

Стр. 95. *Витя... сводит с кем-то вроде Долгушина...* — Долгушинцы обвинялись в составлении «преступных воззваний», в напечатании и распространении их с целью возбуждения населения к бунту. Всего было три воззвания: 1) «Как должно жить по закону природы и правды»; 2) «Русскому народу», с эпиграфом из Евангелия от Матфея: «Ищите и обрящите, стучите и отверзется вам, ибо всякий, кто ищет, — находит и стучащемуся отворяют»; 3) «К интеллигентным людям». Идея центральная во всех трех прокламациях — идея равенства и братства. Во второй она конкретизируется в виде следующей программы: крестьянству необходимо объединиться против помещиков и царя, чтобы уничтожить оброки, поделить землю между всеми трудящимися, заменить постоянное войско народной милицией, устроить для всех хорошие школы, уничтожить паспорта и, «самое важное требование», — чтобы правительство выбиралось самим народом, которому оно должно будет во всем давать отчет.

В судебном отчете и в судебных прениях возбуждение населения к бунту против царя было выдвинуто как самое главное обвинение, так что у Достоевского должно было получиться представление о гораздо большей революционности кружка, чем это было на самом деле.

К ответственности было привлечено 13 человек. Из них пятеро: Долгушин, автор прокламаций, он же главный организатор кружка, технолог Дмоховский, о котором прокурор говорил как о главном идейном вдохновителе (он-то и есть, по-видимому, тот богатый помещик, о котором мы читаем в черновиках дальше, см. стр. 115, что он работал у немца на техническом заводе, «отчасти Спешнев»), бывшие студенты Папин и Плотников участвовавшие в печатании и распространении прокламаций, и учитель Гамов, передавший несколько экземпляров прокламаций рабочим одной из подмосковных фабрик. Все они были присуждены к каторжным работам (от 5 до 10 лет) с лишением всех прав состояния. Ананий Васильев, раздававший прокламации по деревням, дал «откровенные показания» и отделался сравнительно легко. Еще более откровенные показания дала жена Долгушина, окончившая акушерские курсы, и дело о ней было

Списокъ лицъ.

привлеченныхъ въ качествѣ обвиняемыхъ къ тому съ состав-
ленны, признаніи и распространении пресланимихъ, рус-
скую народъ; какъ должно быть по закону правды и
природы и, въ истинности своемъ содержавъ.

№ по суду	Имя или званіе, имя, отчество и фа- милія привлеченныхъ.	По постановленію Высшаго суда, приговореннаго къ смер- ти, приговореннаго къ пожизненному заключе- нію въ каторгу.	
		Когда постановлено	Мѣсто при- каза, въ которомъ было примѣнено
1	Жена дворянина Григорія Димі- тріевича <u>Демуркина</u> .	26 Января 1878 г. № 11	Смертная казнь въ С.-Петербургѣ
2	Монахиня Матвѣя Григорьевна <u>Садарова</u> .	26 Января 1878 г. № 17	Смертная казнь въ С.-Петербургѣ
3	Крестовникъ Творца губернии и уезда Новокузнецкой волости, деревни Волгод Ананий <u>Васильевъ</u> .	29 Января 1878 г. № 26	Смертная казнь въ С.-Петербургѣ
4	Дворянина Левъ Александръ <u>Димі- ховскій</u> .	28 Января 1878 г. № 34	Смертная казнь въ С.-Петербургѣ
5	Рязанскій градоначальникъ Димітрій Димітрій <u>Циммерманъ</u> .	29 Января 1878 г. № 37	Смертная казнь въ С.-Петербургѣ
6	Бывшій сотрудникъ Московскаго Универ- ситета Иванъ Ивановичъ <u>Павловъ</u> .	28 Января 1878 г. № 182	Смертная казнь въ С.-Петербургѣ

МАТЕРИАЛЫ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА О ДОЛГУШИНЦАХ
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

МАТЕРИАЛЫ
СЛЕДСТВЕННОГО
ДЕЛА
О ДОЛГУШИНЦАХ

Центральный
государственный архив
Октябрьской революции,
Москва

Обвинительный акт,

после предостережения судьи Василия Фришмановича Про-
хорова следующие Долгушины: Александр Васильев Долгушин 25-ти лет, Лев Демитрий
Дмоховский 23-х, Иван Иванович Панин 25-ти, Ни-
колай Александров Митин 23-х, Дмитрий
Иванович Басов 26-ти, Александр Сергеевич
Мих 24-х, Василий Петрович Сидорацкий 20-ти, сын
«бывшего» Ивана Фришмановича Дергачева 29,
Виктор Иванович Динин, Алексей Иванович
Михайлов 24-х, дочь купца 25 летняя Анна
Яковлевна Ободовская 26-ти, дочь купца Татьяна
Петровна Сахарова 26-ти и преставил Ана-
стасий Васильев 18-ти лет.

Осенью 1892 года, в Петербурге, на
Петербургской стороне, в Д. Мухом, прожива-
вший офицер Александр Васильев Долгу-
шин, давший в то время мажор-
ский билет, и сын его Дергачев.
У Долгушина происходило свидание
по вечерам, знакомые, в том числе

прекращено. Остальные: Сахарова, бывшая прислуга, сожительница Дмоховского, учительница Александра Ободовская, сын священника Авессаломов, у которого были найдены прокламации долгушинцев в единичных экземплярах, сын купца Эмилий Циммерман, к которому Ананий Васильев обратился за помощью незадолго до своего ареста, и Василий Сидорацкий отделались арестом (от трех дней до месяца). Студент Чиков, передавший прокламацию Ободовской, получил два месяца ареста с отдачей на два года под надзор полиции.

В судебном отчете рассказано подробно о начале деятельности кружка. Собирались на квартире у Долгушина, на Петербургской стороне в доме Мерк. В черновых записях к роману и в окончательном тексте кружок тоже собирается на Петербургской стороне в квартире главного организатора. Может быть, потому и дается ему вскоре фамилия «Дергачев», что он — главный, дергает все нити? Дергачеву, как и Долгушину, 25 лет. О Дергачеве говорится, что он был техник и имел в Петербурге занятие. Техником был и Долгушин, заведовал жестяной мастерской купца Верещагина. В окончательном тексте «Дергачев был среднего роста, широкоплеч, сильный brunet с большой бородой; во взгляде его видна была сметливость и во всем сдержанность, некоторая непрерывная осторожность» (т. 8, стр. 56). Это почти точный портрет Долгушина: в судебном отчете он — молодой мужчина, невысокого роста, с черной бородой. Сдержанность и осторожность он проявлял на суде больше всех.

В печатном тексте романа: в комнате, куда пришел Подросток, «было человек семь, а с дамами человек десять» (т. 8, стр. 55). Если исключить из тринадцати, привлеченных к суду, Циммермана, Сидорацкого и Авессаломова как почти совершенно непричастных к делу, то, действительно, столько и остается.

В романе участвует в спорах одна лишь жена Дергачева (Долгушина), другие две дамы «очень слушали, но в разговор не вступали». Сахарова, бывшая прислуга у родителей Дмоховского, — человек малокультурный, идейно не была связана с долгушинцами, а Ободовская тоже стояла далеко от кружка.

Среди мужчин в романе выделены, кроме Дергачева, двое: «высокий, смуглый человек, (...) много говоривший, лет 27» и «молодой парень моих лет» (Подростка, которому было 19 лет), в русской поделке: он оказался потом из крестьян. Первый — это Панин,

26 лет, во время судебного разбирательства все сбивался на разные теоретические темы, по выражению обвинителя, «использовался каждым удобным случаем, чтобы порисоваться». Дается ему фамилия Тихомиров; эта фамилия тоже названа во время процесса как фамилия одного из членов кружка (в первой его стадии). Второй — Ананий Васильев действительно из крестьян: крестьянин Тверской губернии, работал в мастерской, которой заведовал Долгушин. Его русская поддевка и смазные сапоги все время упоминаются свидетелями, которым он раздавал прокламации.

Показательны и следующие детали: в романе жена Дергачева «оставила спор посреднице и ушла кормить ребенка». Жена Долгушина, говоря о своем участии в спорах на теоретические темы, тоже утверждает, что она часто отлучалась кормить ребенка. На следующие сутки после ареста судебными властями в пустоши Петрушкине, даче Долгушина (долгушинцы по переезде в Москву купили ее на деньги Тихоцкого и там печатали прокламации), описана обстановка дома, в котором жили долгушинцы. Мебель только необходимая; в углу на полке деревянный неокрашенный крест, на котором сверху надпись: «Во имя Христа», а на перекладине креста: «Свобода, равенство, братство». Еще надписи на стенах на английском, французском, итальянском и латинском языках. На английском: «О бог, о душа, о слава свободы, и днем и ночью их молния и свет. Мы гребем, как рабы. Но если твой перст коснется нас, то они бегут. Какой человек остановит нас и какой бог поразит нас?» По-итальянски: «Иди твоим путем, и пусть люди говорят, что хотят». На французском: «Служи только ему <очевидно, народу. — А. Д.>, ибо его дело есть дело священное. Он страдает, и всякий человек близки народа — есть посланник бога». Достоевский берет только латинскую надпись: «Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat». («Что не может быть излечено лекарствами, то излечивается железом, чего не может излечить железо, излечивает огонь»). В романе: «Только что мы вошли <Подорожники и его приятель Зверев> в крошечную прихожую, как послышались голоса <...> Кто-то кричал: „Quae medicamenta non sanant“ и т. д. А неокрашенный крест превращен в икону в углу «без ризы, но с горевшей лампадкой». Сюда, пожалуй, следует отнести и то, что фамилии в романе дергачевцев Васина и Крафта находят себе полное созвучие в фамилиях из судебного отчета «Васин» и «Крафт».

Но использование не ограничивается только аксессуарами, обстановкой, количеством действующих лиц и их, отчасти, портретами. В кружке Дергачева идет спор о России, о будущих ее судьбах и роли в истории человечества. Тихомиров (Папин), который, по судебному отчету, все время рисуется, сбивается на разные научные теории, делая ссылки на разных ученых, в том числе на Фридриха Поля, говорит: «Оставьте Россию <...>, работайте для будущего <...> Делайте для человечества и об остальном не забывайте». В спор вмешивается жена Дергачева — она «стояла за дверью, держа ребенка у груди и горячо прислушиваясь: „Надо жить по закону природы и правды“» (т. 8, стр. 58), т. е. так, как указано в одной из трех прокламаций под названием: «Как должно жить по закону природы и правды».

Но «закон природы и правды» предопределяет уже решенным более общий вопрос: «о нормальном человеке». Из судебного процесса видно, что именно этот вопрос занимал долгушинцев прежде всего. С этого и началось. В отчете о процессе жена Дергачева так рассказывает о начальном периоде существования кружка: «Иногда мы собирались все вместе по вечерам и занимались решением разных вопросов, из которых главнейший был — вопрос о „нормальном человеке“. При этом разбирались потребности человека с его физиологической стороны, и мы пришли к тому убеждению, что бедность и невежество суть главнейшие причины, почему большинство не удовлетворяет своим физиологическим потребностям». Отыскание способов к удовлетворению физиологических потребностей так называемого «нормального человека» — такова, в передаче Дергачевой (что подтверждает также и Папин), исходная точка кружка, его, так сказать, философская основа. На этом защитник Папина и строил свою защитительную речь. Они все, в том числе и Папин-Тихомиров, стремятся к разрушению основ общественной жизни, они отрицают собственность: их учение — коммунистическое и в корне противоречит учению чистых политиков, «вызывающих к бунту против государя и государства». Первые — коммунисты «стремятся к подавлению индивидуальной воли», если это нужно для осуществления их целей. Система государственного строя в сущности их мало интересует. Другое дело чистые политики, которые «выше всего ставят личную свободу каждого члена государства».

Долгушинцы, как и почти вся революционная молодежь того времени, были противниками христианства; в этом смысле они атеисты: «жить по закону природы и правды», «устроить рай на земле, но без бога», без церковного бога. Один из них, Плотников, прямо заявил на предварительном следствии, что он «человек без религии». Очень возможно, что для кружка в целом это вовсе не характерно. Но Достоевский и здесь идет по судебному отчету (см. т. 8, стр. 64).

Стр. 95. *Справиться у отца Ивана.* — Речь идет о священнике Иоанне Румянцеве, настоятеле Георгиевской (Благовещенской) церкви в Старой Руссе; в его доме Достоевские снимали дачу и подружились с его семьей. Об отношениях с ним Достоевских рассказано в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской (М.:—Л., 1923, стр. 157—166).

Стр. 95. *С меня довольно сего сознания* — цитата из «Скупого рыцаря» Пушкина. На следующей странице: *Исповедь необычайно сжата (учиться у Пушкина)* и дальше на стр. 96 ссылка на «Повести Белкина». *Исповедь* — разумеется, весь роман, который пишет Подросток от себя, «от Я». В окончательном тексте (в 5-й главе первой части романа), где подробно говорится об идее «стать так же богатым, как Ротшильд», герой прямо указывает на пушкинскую трагедию как на первоисточник своей мечты: «Я еще в детстве выучил наизусть монолог Скупого рыцаря у Пушкина; выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил! Тех же мыслей я и теперь» (т. 8, стр. 100). И в черновом наброске на стр. 95 Подростку даются черты рыцаря: «*Система же Его: копление, сила воли, характер, уединение и тайна*». В начале Достоевский придавал этой теме первостепенное значение. Так, на стр. 212, запись от 14 октября: «Поэма в подростке и в идее его или, лучше сказать, — в подростке единственно как в носителе и изобретателе *своей идеи*». Но потом идея богатства отодвигается далеко на задний план идей «благообразия», и возникает множество тем и планов, развивающихся из переживаемых сердцем впечатлений. «Благообразие» должно быть противопоставлено «безобразию» в разных формах и видах, так, чтобы Подросток вступил на правильный путь после долгих борений и нравственных исканий. Тем острее становится для Достоевского вопрос: как создать «стройное целое», избавиться на этот раз от того «недостатка», на который указал ему однажды Страхов, упрекнув его в том, что он «до сих пор не управляет своим талантом», чересчур загромождает свои произведения, чересчур их усложняет («Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению». М. — Л., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 271). И снова обращение к Пушкину: «Писать от себя. Начать словом: Я». «Начать прямо и сжато: как и почему захотел быть богатым; когда явилась идея<...> И уже после о том, что у него отец в Петербурге, и кто его отец и как он туда поехал» и т. д.

Стр. 99. *Мировой посредник первого призыва, в отставку.* — Как известно, мировые посредники были введены в 1861 г., одновременно с освобождением крестьян от крепостной зависимости, для устройства их поземельных отношений и для надзора за их сословным управлением. Мировые посредники избирались из местных потомственных дворян и утверждались в должности Сенатом. В деятельности мировых посредников было два периода. В первом, когда ряды мировых посредников пополнялись лучшими представителями русского общества, в большинстве местностей они оставили по себе у крестьян хорошую память. В спорах с помещиками они часто отстаивали интересы крестьян, вступали нередко в борьбу не только с уездными, губернскими предводителями дворянства, но и с губернаторами. Этот первый период продолжался менее трех лет, когда под влиянием усилившейся правительственной реакции лучшие из первоначальных деятелей стали выходить из числа посредников (М. М. К а т а е в. Местные крестьянские учреждения 1861, 1874 и 1889 гг. СПб., 1911). Типична в этом отношении деятельность Л. Н. Толстого в роли посредника и причины его ухода. Толстой был назначен мировым посредником 4-го участка Крапивенского уезда Тульской губ. 16 мая 1861 г. взамен избранного дворянами на ту же должность какого-то Михаловского, несмотря на опасения уездного и губернского предводителей дворянства. О том, что Толстой отстаивал интересы крестьян и местные крестьяне от него в восхищении, пишет славянофил Иван Аксаков (см. Н. Н. Г у с е в. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М., 1958, стр. 240, 244—245).

В дневнике от 25 июня Толстой записывает: посредничество «поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье». Об этом же он пишет А. А. Толстой: «Посредничество интересно и увлекательно, но нехорошо то, что все дворянство возненавидело меня всеми силами души и суют мне *des bâtons dans les roues**» (Л. Н. Т о л с т о й, т. 48, стр. 38). 18 августа того же года 18 дворян-землевладельцев Крапивенского уезда подают заявление о «стеснительном положении», в которое они поставлены действиями мирового посредника. Все действия и распоряжения Толстого для дворян «невыносимы и оскорбительны», возбуждают в крестьянах враждебное расположение к помещикам и принесут дворянам «огромные потери» их достоинства. 12 декабря подается просьба от лица всего дворянства уезда «ходатайствовать об увольнении г. Толстого от должности мирового посредника». Причем приложен список «грехов» Толстого: он взыскивал с помещиков в пользу крестьян, отдавал помещичью рожь крестьянам и т. п. 18 декабря на имя губернатора подано заявление со стороны предводителя дворянства об «односторонних, несправедливых и произвольных действиях г. Толстого».

Положение становится таким, что Толстой вынужден 12 февраля 1862 г. подать заявление о «невозможности» для него деятельности мирового посредника, так как почти каждое постановление его отменяется. А 30 апреля Толстой передает «по болезни» исправление должности мирового посредника своему старшему кандидату. 26 мая состоялось официальное увольнение Толстого.

То, что происходило с Толстым, было достаточно типично для всех прогрессивных мировых посредников первого призыва. Достоевский мог знать, по всей вероятности, —

* палки в колеса (франц.).

слышать, обо всех этих перипетиях с Толстым, тем более — с петрашевцем Спешневым, с которым был так близок в конце 40-х годов: Спешнев тоже был посредником первого призыва (в Островском уезде Псковской губ.), и местные власти на него доносили, что он твердо стоит за интересы крестьян.

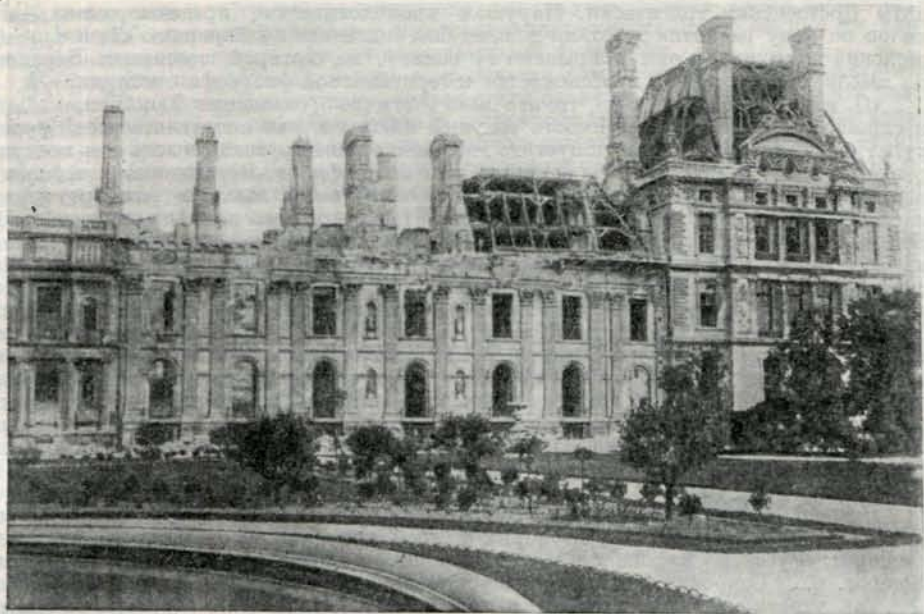
Стр. 99. *Поминает Герцена*. — Дальше в другой, более поздней записи есть фраза, которую можно понять только в связи с Герценом: *я Прудона горжусь* (стр. 410). Прудона, как известно, Герцен считал самым свободным человеком в Европе и действительно гордился своей с ним дружбой.

Имя Герцена упоминается и в окончательном тексте романа, в «Исповеди», там, где раскрывается главная мысль Версилова, после его слов: «Я уехал с тем, чтоб остаться в Европе, <...> и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировал». — «К Герцену? — восклицает Подросток. — Участвовать в заграничной пропаганде? Вы, наверно, всю жизнь участвовали в каком-нибудь заговоре?» (т. 8, стр. 512). В черновиках выше на эту тему есть такая фраза: «*Есть ли русский, который бы не был в свое время в заговоре?*» (стр. 406). Но в окончательном тексте Версиров иначе на это отвечает: «Нет, мой друг, я ни в каком заговоре не участвовал. <...> Нет, я просто уехал тогда от тоски; от внезапной тоски». Это восходит к центральному моменту в мировоззрении Герцена, но так, как его интерпретировал Н. Страхов в своей книге «Борьба с Западом в нашей литературе» (стр. 1—168). Книга печаталась вначале отдельными главами в журнале «Заря» за 1870 г., и тогда же они произвели на Достоевского особенно сильное впечатление. «С нетерпением жду продолжения вашей статьи», — писал он Страхову в письме от 24 марта 1870 г. «...» Вы чрезвычайно удачно поставили главную точку Герцена — пессимизм <...> С страшным нетерпением жду продолжения статьи; тема слишком задирающая и современная» («Письма», т. II, стр. 259). И в письме к нему же от 5 мая 1871 г. Достоевский снова возвращается к этой теме: «Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности повернуться на этот же путь» («Письма», т. II, стр. 357) — т. е. на путь противопоставления России Европе, признания за русским народом особого всемирно-исторического значения для будущих судеб человечества. Страхов упрекал Герцена в том, что он не хотел оставаться верным самому себе. Отчаявшись в Европе, потеряв прежнюю веру свою в европейские идеалы и, как пишет Страхов, в самую идею прогресса, он должен был бы навсегда оставаться в положении постороннего «зрителя», подобно «римским философам в первые века христианства», тоже «скорбно смотреть на разрушающийся мир», свободно мыслить, тосковать, мучиться в своем отчаянии, но не действовать, не участвовать ни в каких революциях, ни в каких заговорах (Н. С т р а х о в. Борьба с Западом..., стр. 84—105). Герцен не послушался своего внутреннего голоса, и в этом, по Страхову, его величайшая ошибка, причина вечных сомнений, неполного возврата его на родину, его «нигилистического славянофильства». В окончательном тексте Версиров, тоскующий, разочарованный в европейских идеалах, уходит с «тонувшего европейского корабля» и как бы исправляет ошибку Герцена.

«К Герцену» Версиров не пошел, в заговорах, ни русских, ни европейских, не участвовал, но путь «внутренний» он проделал тот же. Только там, на Западе, в величайшей тоске от того, что «лик мира сего проходит», он понял, что любит только ее, «мать», мать Подростка, крестьянку, символизирующую собою, как сказано в черновиках, Россию, «святую Русь». «Началось, — говорит Версиров Подростку в исповеди своей, — с ее впалых щек, которых я никогда не мог припоминать, а иногда так даже и видеть без боли в сердце — буквально боли, настоящей, физической» (т. 8, стр. 522). «Цивилизованный и отчаянный, бездейственный и скептический, высший интеллигент» (см. стр. 178), — так интерпретирует в одной из черновых записей сам автор идейный смысл образа Версирова — увидел в этих «впалых щеках» матери отпечаток горя народного, и возникла в сердце не столько любовь, сколько великое сострадание. И дальше так представлены взаимоотношения между этой «высшей интеллигентией» и народом. Она, мать, Россия, «вечно считала себя безмерно ниже меня <цивилизованного> во всех отношениях». А между тем, «в жизни моей я не встречал с таким тонким и догадливым сердцем женщины». «Клянусь, она более, чем кто-нибудь, способна понимать мои недостатки». Народ, мать, Россия — только простой народ обладает истинным пониманием вещей, тонким и догадливым своим сердцем чувствует правду.

И вот как рассказывает этот «отчаянный, скептический» интеллигент о своей «страннической Одиссее», о своей «эмиграции», как она началась и чем она кончилась. Исповедь — грустная эпитафия всему прошлому, пережитому: «Мои странствия как раз кончились и как раз сегодня. <...> Сегодня — финал последнего акта, и занавес опускается. Этот последний акт долго длился». Он начался разрывом с Россией; «начался он очень давно — тогда, когда я побежал в последний раз за границу. Я тогда бросил все, и знай, мой милый, что я тогда разженился с твоей мамой и ей сам заявил про это. <...> Я объяснил ей тогда, что уезжаю навек, что она меня больше никогда не увидит» (т. 8, стр. 523, 511).

Так началось и «бегство» Герцена в Европу: он тоже «бросил все», вскоре «разженился» с «мамой», с Россией и тоже сам заявил ей про это, объяснил ей тогда в статье «Россия», что останется в Европе навсегда: «Было время, когда



ДВОРЕЦ ТЮИЛЬРИ. РАЗВАЛИНЫ

Фотография из «Album photographique des ruines de Paris, Collection de tous les monuments et edifices incendiés et détruits par la Commune de Paris», 1871

Литературный музей, Москва

близ Уральских гор я создавал себе о Европе фантастическое представление; я верил в Европу и особенно во Францию. Я воспользовался первой же минутой свободы, чтобы приехать в Париж». Здесь тон бодрый, радостной надежды. Герцен ставит рубеж: «это было еще до Февральской революции», и тогда в Европу можно было еще верить (Герцен, т. VI, стр. 222). Но Достоевский и тут следует Страхову, когда заставляет Версилова эмигрировать не потому, что тот верил в Европу, а «от тоски, от внезапной тоски». В толковании Страхова Герцен всегда был пессимистом, ставил неразрешимые вопросы и в ранних своих произведениях, до эмиграции. Оттого, утверждает Страхов, он так сразу, еще до Февральской революции, стал замечать на лице европейского мира эту «матовую землистость» — *Facies hypocritica*, по которой доктор узнают, что «смерть уже занесла косу» (там же, стр. 27—28).

Но особенно усилилась тоска Герцена после июньских расстрелов 1848 года. Рассеялись последние иллюзии, и он уже окончательно убедился, что старый мир—Европа безнадежно больна. Европа умирает. Уже видишь эти предсмертные конвульсии. Вот она иногда бессильно усиливается «еще раз схватить жизнь, еще раз овладеть ею, отделаться от болезни, насладиться,— не может, и впадает в тяжкий, горячий полусон». Таков лейтмотив всех произведений Герцена конца 40-х и 50-х годов. Мотив этот уже слышится в последних его «Письмах из Франции и Италии» и особенно явно в книге «С того берега».

«Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтоб подняться на высоту собственной мысли». «Мир, в котором мы живем, умирает <...> никакие лекарства не действуют более на обветшалое тело его». И отсюда тот героический пессимизм, та великая тоска, которая охватила всех, кто обладал «искренностью и независимостью», отвагой бесстрашно смотреть истине в лицо, каким бы ни веяло от нее отчаянием. «Мы живем во время большой и трудной агонии»... И «повсюдная скорбь — самая резкая характеристика нашего времени...» То же в окончательно тексте романа, когда Версиков спрашивает Подроску, что он эмигрировал «от тоски, от внезапной тоски». Подроска спрашивает его: «Что же, Европа воскресила ли вас тогда?» И Версиков отвечает: «Воскресила ли меня Европа? Но я сам тогда ехал ее хоронить!» (т. 8, стр. 512). Это «тогда» определяется довольно точно: «Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри; я и без того знал, что все пройдет, весь лик европейского старого мира — рано ли, поздно ли...» Война — франко-прусская, закончившаяся поражением Франции, и «Тюильри» — Парижская коммуна. Эти европейские события последних лет были воспри-

няты Достоевским трагически. Нарушая хронологические пределы романа, — Версиров по ходу развития действия должен был скитаться по Европе до «Тюильри» (Парижской коммуны), — они вскрывают ту основу, на которой пессимизм Версирова, по мысли Достоевского, приближается к герценовской философии истории.

«О, не беспокойся, я знаю, что это было „логично“ <сожжение Тюильри. — А. Д.>, и слишком понимаю неотразимость текущей идеи, но, как носитель высшей русской культурной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей» (т. 8, стр. 514). В отличие от славянофилов, Версировым в черновиках несколько раз подчеркивается, что этой «высшей своей мыслью», «всепримирением идей» русский народ обязан именно Петру I и в этом его великое значение: «Петр Великий нас сделал гражданами Европы, и мы понесли общечеловеческое соединение идей». «Горизонт отверзат перед нами Петром». «Всепримирение идей», или еще иначе: синтез всех частных идей, которые вырабатывает у себя каждая отдельная страна Европы, — вот что является уделом истинного европейца, т. е. русского. Не противопоставление России Европе, а вмещение Россией в себя всей Европы, «всей ее культуры, накопленной всеми народами Запада». И Версиров говорит дальше: «Я скитался один». Один из той тысячи, которая сумела выработать «еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, — тип всемирного боления за всех» (т. 8, стр. 515). В Европе людей такого типа еще нет. Европа сумела выработать тип француза, англичанина, немца, но еще ничего не знает о будущем своем человеке, о действительном европейце... «Тогда во всей Европе не было ни одного европейца!<...> Я, как русский, был тогда в Европе *единственным европейцем*» (т. 8, стр. 515).

И еще и еще раз утверждается Версировым в окончательном тексте, что мы не только не отвергаем Европы, когда говорим о своем всемирно-историческом назначении; наоборот: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней мил и дорог. <...> Сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия».

Так утверждает и Герцен еще в первом своем «писеме из Франции и Италии» (т. V, стр. 24): «Разве родина нашей мысли, нашего образования не здесь? Разве, привенчивая нас к Европе, Петр I не упрочил нам права наследия? Разве мы не взяли их сами, усвоивая ее вопросы, ее скорби, ее страдания вместе с ее нажитым опытом и с ее нажитой мудростью? <...> Воспоминания Европы, ее былые сделались нашим былым и нашим прошедшим». И дальше Герценом противопоставляется Россия Европе на том основании, что там, на Западе, выработались законченные типы, там каждая страна, «чем ближе она к своему окончательному состоянию, тем больше она считает себя средоточием просвещения и всех совершенств», как Англия и Франция, «не сомневающиеся, — в своем антагонизме, в своем соревновании, в своей взаимной ненависти, — что они передовые страны мира». Мы же, в отличие от западных стран, свободны от этой узости. «Многосторонность наша — великое дело». Мы умеем «видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение». Мыслящий русский — «самый независимый человек в свете», самый свободный.

Герцен, этот «еще нигде не виданный высший культурный тип», тип «всемирного боления за всех», Герцен остался в Европе «страдать вдвойне», страдать от своего горя и от горя Европы, «погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому она несется на всех парах». И Герцену действительно грозила гибель — полное отчаяние, «разъедающего душу, парализующего всякую волю к действию». Спасла его вера в Россию, он «вдруг полюбил ее как никогда прежде». «Вера в Россию — спасла меня на краю нравственной гибели». «В самый темный час холодной и неприветной ночи, стоя середь падшего и разваливающегося мира и вслушиваясь в ужасы, которые делались у нас, внутренний голос говорил все громче и громче, что не все еще для нас погибло, — и я снова повторял гетевский стих, который мы так часто повторяли юношами: „Nein, es sind keine leere Träume“».

За эту веру в нее, за это исцеление ею — благодарю я мою родину» (Герцен, т. V, стр. 10).

Чем же кончаются странствия Версирова? Скитаясь по тому же падшему, развалившемуся миру, в тоске и в отчаянии, он вдруг полюбил маму, как никогда, с этой минуты началось его выздоровление.

Исповедь Версирова, в которой высказана высшая мысль «общечеловеческого» боления, должна быть поднята и на вершину нравственной высоты. Подросток говорит: «Клянусь, что европейскую тоску его я ставлю вне сомнения и не только наряду, но и несравненно выше какой-нибудь современной практической деятельности <...> Любовь его к человечеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, без всяких фокусов; а любовь его к маме за нечто совершенно неоспоримое, хотя, может быть, немного и фантастическое» (т. 8, стр. 521). Так именно интерпретирует Страхов и деятельность Герцена. Герцен для него самый искренний писатель, всю жизнь одержимый европейской тоской, «болением за всех», за все человечество. Глубоко искренна была и любовь его к России, внутреннее возвращение его на родину; но видел он

* «Нет, это не пустые мечты!» (нем.).

в ней, — по словам Страхова, — «поприще для осуществления своих заветнейших дум <...> Идей, совершенно ей чужих, совершенно посторонних. И тут он как бы вдруг покидает ясную дорожку и впадает в область мрака *фантазии*».

В «Колоколе» от 15 января 1861 г. напечатан некролог Константина Аксакова, написанный Герценом. В нем так говорится о том главном, что соединяло и что разделяло родоначальников «западничества» и «славянофильства»: «У нас и у нас запало с ранних лет одно сильное безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они (славянофилы. — А. Д.) принимали за воспоминание, а мы за пророчество, — чувство безграничной, обхватывающей все существование, любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума <...> Они всю любовь, всю нежность, перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка <...> мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнате было нам душно: все почернелые лица из-за серебряных окладов, все попы с причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и псариями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье, раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний; мы знали и другое — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, это — наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство».

Достоевский мог прочитать эту цитату в «Колоколе», когда в 1862 г. был в Лондоне и часто встречался с Герценом, повторно — у Страхова, как и следующие слова Герцена: «И если они (славянофилы. — А. Д.) не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, — то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей». Этот символ с фельдъегерской тройкой используется потом Достоевским почти дословно, как используются здесь параллели: угнетенная мать, крестьянка, народ, Россия. Сильное безотчетное чувство любви к народу, — у славянофилов оно воспоминание, тянет к прошлому, к этим попам с причетом и почернелым лицам из-за серебряных окладов; у западников же — революционных демократов, вернее у Герцена, оно пророчество: о том, что счастье этой загнанной, угнетенной матери впереди. У Достоевского здесь, во всяком случае, это «чувство любви к народу» не разъединено: оно у него и «воспоминание» и «пророчество».

Не подлежит сомнению, с Герценом же, с одним из замечательнейших эпизодов, рассказанных им в главе VI седьмой части «Былого и дум», следует поставить в связь некоторые факты и черты из биографии Версилова, сохранившиеся и в окончательном тексте. Однако, с точки зрения вопросов и идей, которые этот центральный образ призван выражать собою в романе, они совершенно лишние, становятся только материалом для комических анекдотов в устах старого князя Сокольского. Разумеется эмиграция Версилова в Европу, где он попадает на крючок иезуиту, принимает католичество («Ведь вы католический монах», носит вериги, «проповедует монастырь»). Все это приводит тем более странное впечатление, что исторически, с самого начала, звучит анахронизм, поскольку переход в католичество лишен и тени типичности для молодого поколения 40-х годов, увлекавшегося материалистическими взглядами Герцена и Белинского, «Полинькой Сакс» Дружинина и «Антоном Горемыкой» Григоровича, но отнюдь не религией.

И дальше, — в черновиках особенно подчеркнуто, — этот католик, иезуит убежден в неизбежности революции, сочувствует ей; и в то же время революция его не удовлетворяет, поскольку в ней нет ответа на главный вопрос — не столько отдельной личности, сколько всего человечества в целом: «Для чего жить?» Точные науки, все открытия дадут возможность приобрести бездну комфортных вещей, разрешат вопросы о благоустройстве народов. Но человечество отвергнет такое «счастье»: «Теперь сижу на драге, а тогда все будем сидеть на бархате, ну и что же из этого? Все-таки остается вопрос: что же тогда делать? При всем этом комфорте и бархате, — для чего собственно жить, какая цель? Человечество возжаждет великой идеи» (стр. 94).

Мы несомненно в сфере идей и фактов из жизни В. С. Печерина, рассказанной Герценом под заглавием «Pater V. Petcherine» в шестой книге «Полярной звезды», вышедшей в 1861 г. О Печерине, об этом человеке большого ума и встревоженной совести, ученом и поэте, Герцен говорит с большим сочувствием: как, в начале 30-х годов, он бежал в Европу от «невynosимой духоты» николаевского режима, под влиянием идей утопического социализма Сен-Симона и Фурье мечтал о том, чтобы примкнуть к западноевропейскому революционному движению, но вскоре в нем разочаровался, вернувшись обратно в Россию казался невозможным, впадал человек в отчаяние и в 1840 г., приняв католичество, вступил в монастырь, а через три года стал священником ордена редемптористов, близкого к иезуитам.

Достоевский был первый раз за границей в 1862 г.; в Лондоне, в атмосфере Герцена, часто с ним встречаясь, провел целую неделю и, разумеется, прочитал все, что вышло из-под его пера, в первую очередь, конечно, «Былое и думы». До этого про судьбу Печерина Достоевский вряд ли знал что-нибудь: в 30-х годах он был слишком молод, да и вращался не в той среде. Но если знал, то тем более должно было его заинтересо-

вать то, что пишет о нем Герцен, этот «высокий ум» и чуткое сердце, перед авторитетом которого склонялись не только западники, но и люди, близкие к славянофилам, в частности, единомышленник Достоевского по «почве» Аполлон Григорьев.

Печерин — католик, иезуит, «носит вериги» и в то же время во многом разделяет революционные убеждения Герцена: через два года, в ответ на воззвание «Земли и воли», первый жертвует из своих весьма скудных средств в общий революционный фонд, о чем было опубликовано, с его же ведома (в л. 159 «Колокола» от 16 марта 1863 г.). Это причудливое сочетание черт в биографии Печерина: то, что иезуитом, католиком мог стать человек, как говорит о нем Герцен, столь многим пожертвовавший ради свободы, объясняется в «Былом и думах» бедностью, безучастием, одиночеством. «Разоблаченным показался себе, сирым русский человек в сортированном и по горло занятом Западе, ему было слишком безродно» (Герцен, т. XI, стр. 392). Но ушел Печерин в иезуитский монастырь вряд ли только от того, что, как говорит Герцен «судьба его, вдруг отрешенная от всякого внешнего направления, попала в его собственные руки, он не знал, что делать, не умел с ней управляться». Владело им в течение многих лет искреннее и глубокое религиозное чувство, породившее коренное несогласие на всю жизнь с философией материализма. Это сказалось и при первой встрече с Герценом в 1853 г., и в той полемике (в письмах), которая вскоре возникла между ними, как только Печерин познакомился с двумя центральными работами Герцена того времени: «Русский народ и социализм» и «Развитие революционных идей в России».

В письме от 15 апреля 1853 г. Печерин выступает против того, что Герцен придает во второй работе слишком большое значение философии и литературе, которые будто бы «призваны обновить настоящее общество». Его же, Печерина, убеждение, что «когда философы, ораторы и поэты господствуют и разрешают все общественные вопросы, тогда конец, падение, тогда смерть общества». Только одна религия служила всегда основой государства. И дальше о фаланстере и коммунизме: «У вас вырвалась фраза, счастливая или несчастная, как хотите: вы говорите, что „фаланстер — не что иное, как преобразованная казарма, и коммунизм может быть только видоизменение николаевского самовластья“. Я вообще вижу какой-то меланхолический отблеск на вас и на ваших московских друзьях. Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины, т. е., что вы и ваши — в отрицании, в сомнении, в отчаянии. Можно ли перерождать общество на таких основаниях?» (Герцен, т. XI, стр. 397).

Но еще показательнее, в смысле сближения идей Версилова с идеями Печерина, следующее письмо Печерина от 3 мая 1853 г. в ответ на письмо Герцена от 21 апреля 1853 г. Герцен настаивает на огромном преобразовательном значении не столько философии и литературы, сколько науки — науке принадлежит будущее. «Она — средство, память рода человеческого, она — победа над природой, освобождение. Невежество, одно невежество — причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* в животном состоянии. Наука, одна наука может теперь поправить это и дать им кусок хлеба и кров. Не пропагандой, а химией, а механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками сжимали физически и нравственно» (Герцен, т. XI, стр. 399). «Признаюсь вам откровенно, — пишет ему Печерин, — ваше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистический, признаюсь и в этом.

Что будет с нами, когда *ваше* образование (*votre civilisation à vous*) одержит победу? Для вас наука — все, альфа и омега. <...> Наука ограниченная, узкая, наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме его. Химия, механика, технология, пар, электричество, великая наука пить и есть <...> Если *эта* наука восторгается, горе нам! <...> Куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги, посылает пароходы, журналы ее проникают до каленых пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтоб их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлечет теперь нас <...> на публичные торжища и там спросит: „Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обскуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах: рай здесь на земле — будем есть и пить, ведь мы завтра умрем!“ Вот что меня приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?» (см. Герцен, т. XI, стр. 400). Это тот же тон, который слышится в возражениях Версилова на социальные идеи долгушинцев. Сказывается близость в существе их мировоззрений, как и должно быть у людей сходного романтического строя. Достоевскому думалось о Печерине, наверно, не только в связи с тем, что узнано о нем у Герцена в 1862 или 1863 гг. В 1865 г. в самом конце августа И. С. Аксаков (тогда редактор славянофильской газеты «День»), в основном единомышленник Достоевского, неожиданно получил от Печерина письмо с приложением нескольких стихотворений. На Достоевского эти стихи должны были произвести огромное впечатление.

Не погиб я средь крушенья!
Не пришел еще мой час!
И средь бурного волненья
Мой светильник не погас!

И подчас, как молнии, блещут
Мысли юности моей,
И в груди моей трепещут
Вдохновенья прежних дней.

Чудится — плывут в эфире
Звуки песней удалых
И волшебница на лире
Мне поет о снах златых

Рано, рано с утренней зарею
Вышел я из хижины родной,
И зеленый лес передо мною
Расцветал весеннею красой.

На ветвях алмазами сверкали
Капли крупные росы ночной,
Дикие цветы благоухали
В пышном лоне зелени густой...

На сосне, сосне высокой
Птичка дивная сидит,
И ее живое око
Прямо в небеса глядит.

Встрепенулась и запела,
И — весь лес безмолвен стал;
Птичка пела, пела, пела,
А я слушал и молчал.

Заливалась, разливалась,
Будто соловей, она,
И мне песнь ее казалась
Тайной грустью полна.

Райская была та птица
И о рае песнь вела,
И *туда* меня певича
И манила и звала:

«Вечным солнцем там сияет
Правды незакатный свет!
Там любовь не умирает,
И разлуки вовсе нет!

О, дух, жаждою томимый!
Там тебя блаженство ждет!
Там струей неутомимой
Истины поток течет.

Там под небом вечно чистым
Будешь птичкою парить,
Как пчела, из роз душистых
Сладкий мед ты будешь пить.

Что тебе страна родная
Меж туманов и снегов?
Там — свобода золотая!
Жизнь эфирная духов!»

Птичка пела, пела, пела,
А я слушал — и мечтал;
Быстро жизнь моя летела;
Дни прошли — и я не знал.

И красуется, как прежде, в пышной
Зелени, густой, могучий лес;
Но певичи дивной уж не слышно,
И навеки след ее исчез.

Время хладною рукой сорвало
Юности венок с главы моей;
Все померкло — сердце перестало
Верить сладким песням вешних дней...

Бесприютным сиротою
Я у хижины родной
Постучался в дверь клюкою —
Мне ответил глас чужой:

«Кто ты, странник? из какого края?
Где твой бог? и где твоя семья?...
Или, может быть, — судьбина злая
На изгнание обрекла тебя?»

Есть народная святыня!
Есть заветный кров родной!
И семейство, как твердыня,
Нас хранит в године злой.

Неужель на белом свете
Некому тебя обнять,
Приютить, пригреть на сердце
И тебе „люблю“ сказать?»

Странник:

Ах! поверь: и мне не чужды были
Ласки матери родной!
И друзья мне счастье сулили,
И звезда светила предо мной!
Но — я слышал глас Красы незримой;
Этот глас меня очаровал.
Я отца, и мать, и край родимый —
Все на жертву ей отдал!
Где ты? где, Краса небесная!
Где? В какой стране тебя найду?
За горами ль за высокими?
За морями ль за широкими?
Всюду за тобой пойду!
Предо мной везде она мелькала
И манила за собой;
Я за ней. — Она вдруг исчезала,
Будто призрак в тьме ночной.
И теперь бездомным сиротою
По миру один брожу,
Сладкого везде ищу покою —
И нигде не нахожу...

В письме Печерина, сопровождавшем эти стихотворения, мы находим следующие грустные слова: «Я сам не могу себе объяснить, для чего я посылаю вам эти стихи. Это какое-то темное чувство — или просто желание переслать на родину хоть один мимолетный умирающий звук».

Аксаков немедленно напечатал и письмо и стихотворения, предпослав им горько написанную передовую статью. «Мы не знаем, — писал он, — найдется ли в России человек, которому глубокая скорбь этих искренних, сердечных, ароматических стихов не выворотила бы всего сердца! Это брат наш скорбит и страдает, это родная нам душа бьется, как птица в клетке, изнывает, гибнет и стонет! Он наш, наш, наш — даже под латинским фроком! — он имеет полное право на наше участие и сострадание! Неужели нет для него возврата? Ужели поздно, поздно?... <...> Русь простит заблуждения, которых повод так чист и возвышен, она оценит страстную, бескорыстную жажду истины» («День», 1865, № 29, 2 сентября).

Появились в 60-х годах и другие сведения о Печерине, которые Достоевский должен был читать. В 1863 г. рассказал (в «Московских ведомостях», №№ 168 и 174) историю обращения Печерина Катков. По его словам, Печерин уверовал под влиянием одного случая, который его потряс. Будучи человеком безусловно неверующим, он однажды в Брюсселе вошел в католическую церковь, чтобы посмеяться и покошунствовать, и затеял богословский спор с монахом-редемптористом; но монах разбил его доводы, поразил его непоколебимой твердостью своего убеждения и сумел пробудить в молодом

ОБЛОЖКА ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАНИЯ
РОМАНА «ПОДРОСТОК»

(Париж, 1956)



вольномудце религиозное чувство; результатом был переход Печерина в католичество и вступление его в орден редемитористов. В предисловии Огарева к сборнику русских запрещенных стихов говорится об этом же глухо: «Внешнее чудо могло столкнуть его живого в гроб» (Н. П. О г а р е в. Избранные произведения, т. 2. М., 1956, стр. 492). В повести «Долг прежде всего» Герцен явно воссоздал эту же историю из жизни Печерина (Герцен, т. VI, стр. 525). В «Русском архиве», 1870, № VII, был опубликован отрывок очень интересных собственных воспоминаний Печерина. И в № XI — его замечательное письмо к попечителю Московского учебного округа графу С. Г. Строганову, в котором он подробно объясняет причину, почему он решил навсегда остаться в Европе.

Стр. 112. *Вообще весь роман через лицо подростка, ищущего правды жизненной (Жиль-Блаз и Дон-Кихот), может быть очень симпатичен.* — Образ Подростка ассоциируется в сознании писателя одновременно с двумя колоссальными по емкости типическими образами из мировой литературы. С Жиль-Блазом — преимущественно сюжетно, по истории жизни и приключений юноши из «случайного семейства», «его исканий, надежд, разочарований, горечи, возрождения», когда он сталкивается с людьми разных классов и сословий в поисках своего места на земле. С Дон-Кихотом — по своей нравственной высоте; это история, — читаем мы чуть ниже этой записи, — «самого милого, самого симпатичного существа», сердцу которого, его «милой симпатии и глубине идей», «при таком легком образовании», удивляется человек такой исключительной душевной глубины, как Версиков.

Первые части знаменитого романа Алена Рене Лесажа (1668—1747) «История Жиль Блаза» вышли в 1715 году. Создавался роман в течение двадцати лет и печатался частями. В начале книги Жиль-Блаз — неопытный юноша, в заключительных главах ее — это уже пожилой человек, испытавший многие превратности судьбы. Член «случайного семейства», сын конюха, получивший скромное образование, умный и с добрым сердцем, он покидает родительский дом и отправляется странствовать в поисках счастья. Мир ему кажется прекрасным, как и люди — все без исключения. Но жизнь сразу разбивает его юношескую мечту. Начинаются его испытания, падения и подъемы. Его обманывают и над ним потешаются как над деревенским легковверным парнем. Всюду, во всех слоях общества, он встречает людей хитрых, корыстных, расчетливых и коварных. Следует рассказ о целом ряде его падений: он становится мошенником, ведет знакомство с ворами, сам участвует в воровских операциях. Но хорошие душевные качества его натуры берут верх, он вовремя осуждает себя и свои поступки,

исправляется, чтобы снова поддаться соблазну и снова падать. В последних книгах романа Жиль-Блаз постигает мудрость жизни, успокаивается. Он окончательно бросает город с его пороками, поселяется в деревне в своем маленьком поместье и воспитывает детей. «Я веду блаженное существование, окруженный людьми, столь дорогими моему сердцу», — заключает свое повествование Жиль-Блаз.

Таким же, в сущности, представляется Достоевскому в первой стадии работы над романом финал судьбы Подростка: он должен после всех своих мытарств постигнуть, наконец, что добро и что зло.

Стр. 112. *Однажды пошел к Надежде Прокофьевне...* — Речь идет о Н. П. Сусловой. Достоевский познакомился с ней в самом начале 60-х годов, по всей вероятности, одновременно с сестрой ее Аполлинарией Прокофьевной, оставившей в его личной жизни и в целом ряде его литературных произведений очень большой след (см. сб. «Достоевский», II. М.—Л., «Мысль», 1924, статья А. Долинина «Достоевский и Суслова»). Н. П. Суслова — первая женщина — доктор медицины в России. Она была вольнослушательницей Петербургского университета, затем Медико-хирургической академии. Весною 1863 г. исключенная из Академии, она уехала в Швейцарию, поступила в Цюрихский университет, окончила его в 1867 г., блестяще защитив докторскую диссертацию, которую признали весьма ценной в научном отношении. Будучи крайне левых убеждений, Суслова печатала рассказы в «Современнике» Некрасова, участвовала в революционном движении и долго находилась под надзором полиции. Достоевский был с ней очень дружен. В письме от 19 апреля 1865 г. он пишет ей: «Я в каждую тяжелую минуту к вам приезжал отдохнуть душой, а в последнее время исключительно только к вам одной и приходил, когда уж очень бывало наболит в сердце. Вы видели меня в самые искренние мои мгновения...» И дальше: «Я вас высоко ценю, вы редкое существо из встреченных мною в жизни, я не хочу потерять вашего сердца. Я высоко ценю ваш взгляд на меня и вашу память обо мне (...) У вас теперь юность, молодость, начало жизни — экое счастье! Не потеряйте жизни, берегите душу, верьте в правду. Но ищите же пристально всю жизнь, не то — ужасно легко сбиться. Но у вас есть сердце, вы не собьетесь. (...) Вы мне как молодое, новое дороги, кроме того, что я люблю вас, как самую любимую сестру» («Письма», т. I, стр. 403—405).

Это единственное письмо Достоевского к ней, которое сохранилось. Но есть основание думать, что они состояли в переписке довольно долгое время. В этом же письме Достоевский признавался ей: «Вы мне всегда будете очень памятны». Почти через три года он так говорил о ней своей племяннице С. А. Ивановой-Хмыровой: «На днях прочел в газетах, что прежний друг мой, Надежда Суслова, (...) выдержала в Цюрихском университете экзамен на доктора медицины и блистательно защитила свою диссертацию. Это еще очень молодая девушка: ей, впрочем, теперь 23 года, редкая личность, благородная, честная, высокая!» («Письма», т. II, стр. 73). Суслова, очевидно, должна была появиться в финале романа, после пережитых Подростком душевных мук в поисках правды, когда он в разных средах, в которых «вращался», всюду находил только разочарование «и с оскорбленной душой со всех сторон не знал, к кому пойти». У Сусловой он поразился ее высоким нравственным строем, «вышел с умилением». Умилением перед теми же высокими качествами ее души окрашен тот сложный комплекс чувств, который Ахмаков вызывает в Подростке. Автор придает ей черты студентки 60-х годов, снимая с нее маску великодушия. Как студент со студентом, говорили они часто, они «читали „факты“ (...) По целым часам говорили про одни только цифры, читали и примеривали, заботились о том, сколько школ у нас, куда направляется просвещение. Мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями (...) Хотелось узнать, куда это все стремится и что с нами самими, наконец, будет» (т. 8, стр. 282). Совсем как студентка Надежда Суслова, активно работает Ахмаков в знаменитых воскресных школах 60-х годов. Ахмаков сближаются с Сусловой и общественные ее взгляды. На стр. 136 в черновиках есть такая запись: «... сделать так, что, может быть, Васин имеет на нее [Ахмакову] некоторое влияние».

Стр. 114. *Король Людовик XVII, сапожник...* — Второй сын Людовика XVI, при рождении получил титул герцога Нормандского и в 1789 г., после смерти старшего брата, сделался дофином. В 1792 г. вместе с родителями был заключен в Тампль. После казни отца дядя Людовика, граф Прованский, провозгласил его за границей королем под именем Людовика XVII. В июле 1793 г. он был разлучен с матерью и передан для воспитания якобинцу Симону, по профессии сапожнику, который обращался с ним не «по-королевски». В начале 1794 г. был подвергнут одиночному заключению. После тяжелой болезни 8 июня 1795 г. умер. Был похоронен в общей могиле, и после реставрации Бурбонов его останки не были найдены. Это сделало возможным появление самозванцев, принимавших его имя. Среди них наиболее известны Матюрен Брюно и Анри Эбер. В 1834 г., когда Эбер был привлечен к суду за обман, против его притязаний был объявлен протест от имени «истинного Людовика XVII», часовых дел мастера из Пруссии, Карла Вильгельма Наундорфа (ум. в 1845 г.). Уже в эпоху Реставрации он выдавал себя за спасшегося из Тампля Людовика. Черты сходства его с фамильным типом Бурбонов, в особенности сходства его дочери с матерью Людовика, Марией Антуанеттой, многим внушали доверие к его показаниям. После суда над

ним, который признал его маниаком, Наундорф был выслан из Франции. Сын его продолжал считать себя претендентом на французский престол и дважды возбуждал по этому поводу процессы. Во Франции историки долго занимались этим вопросом, веря в тождество Наундорфа с Людовиком. Достоевскому могли быть известны следующие работы: J. E s c a r d. *Mémoires historiques sur Louis XVII* (Paris, 1817); A. B e a u c h é s n e. *Louis XVII. Sa vie, son agonie, sa mort* (Paris, 1852); A. N e t t e m e n t. *Histoire populaire de Louis XVII* (Paris, 1864). Особенно надо иметь в виду последнюю работу, которую Достоевский мог читать в 1865 году, будучи за границей.

Стр. 114. ...читают Виктора Гюго.— Последний роман Гюго «Девяносто третий год», где решается вопрос о смысле и значении, с точки зрения нравственной, великих событий во Франции в эпоху Конвента. Идеалист в философии, пацифист, утопист в политике, ставивший своей задачей «дополнить великое правдой и правду великим», Гюго всегда видит в исторических лицах и исторических событиях «категории добра и зла», символы «движения от зла к добру», «от тени к свету», в данном произведении — «от монархии через республику террора к республике милосердия». У него Симурден, носитель идеи революции, с ее «логикой, режущей, как нож гильотины», — односторонность. Так же односторонен и Лантенак, носитель идеи феодализма, консерватор, «отомститель». Единственно прав Говен, возвышающийся над обоими носителями частных идей, выразитель идеи автора, идеи гуманности, истинного «добра» и «света». Лантенак и Симурден — антитеза; у каждого из них — своя железная последовательность логически развивающейся идеи прошлого или настоящего. У Говена — синтез, идея будущего, «свет, рождающийся из хаоса». С этой же утопической точки зрения, с позиций высшей гуманности, пытается смотреть на события Парижской коммуны Достоевский. Так, версильской теме «сожжение Тюильри» уделяется в черновиках исключительное внимание и почти всегда в этом «сверхлогическом» аспекте Говена.

Стр. 115. Отчасти Спешнев.— Николай Александрович Спешнев (1821—1882), один из самых главных деятелей, наиболее революционно настроенных, среди петрашевцев. Был приговорен к расстрелу, по конфирмации к 10 годам каторжных работ, которые отбывал в Нерчинском округе; манифестом 26 августа 1856 г. освобожден от каторги. Оставшись на поселении в Сибири, редактировал «Иркутские губернские ведомости». В начале 1860 г. вернулся в Петербург, с 1861 г. занимал должность мирового посредника Островского уезда Псковской губ. и, по донесению местных властей, твердо стоял за интересы крестьян. В кругу петрашевцев Спешнев — самая яркая фигура, оказавшая на Достоевского неотразимое влияние. По убеждению — атеист, коммунист; он знал безусловно «Нищету философии» Маркса, быть может, знаком был и с «Коммунистическим манифестом». Живя в Швейцарии и принимая там активное участие в политической жизни (по словам петрашевца Момбелли, участвовал в войне либеральных кантонов за изгнание иезуитов), Спешнев должен был лично знать известного коммуниста Вейтлинга. Человек сильной воли, с таинственным романтическим прошлым, вдумчивый, зорко наблюдательный, почти всегда молчаливый, обаятельный красавец, по праву относившийся к большинству петрашевцев с оттенком превосходства, всеми признаваемого, — Спешнев в известной мере мог послужить прототипом частью для Васина, а кое-какими чертами и для Версилова. «Чудная судьба этого человека!» — пишет о нем Достоевский в письме к брату из Омска от 22 февраля 1854 г., — «Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые необходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением» («Письма», т. I, стр. 140). В письме к Добролюбову от 12 февраля 1860 г. глубоко правдивый А. Н. Плещеев, ближайший друг Достоевского в последние годы до каторги, пишет о Спешневе такие восторженные слова: «Сегодня я, для своих именин, был порадован не одним вашим письмом, но еще приездом одного очень дорогого моему сердцу человека — Спешнева; он едет из Сибири с Муравьевым и будет непременно у Чернышевского, с которым желает познакомиться. Я дал ему и ваш адрес. Рекомендую вам этого человека, — который, кроме большого ума, обладает еще качеством, — к несчастью, слишком редким у нас: у него всегда слово шло об руку с делом. Убеждения свои он постоянно вносил в жизнь. Это в высокой степени честный характер и сильная воля. Можно сказать положительно, что из всех наших — это самая замечательная личность» («Русская мысль», 1913, кн. 1, стр. 142). В письмах к Достоевскому конца 50-х и начала 60-х годов, интимно дружеских, в которых ясно ощущается духовная близость между ними и общность взглядов, Плещеев несколько раз спрашивает о Спешневе — от 13 декабря 1859 г.: «Ради бога, сообщи ты мне, — правда ли, что Спешнев в Петербурге»; от 17 марта 1860 г.: «Что Спешнев дол го ли будет в Петербурге и где поселится» и т. д. (о Спешневе см. В. И. Се м е в с к и й. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашечки, ч. I. М., 1922, стр. 167—204; «Былое», № 25, 1924, а также А. Я. П а н а е в а (Г о л о в а ч е в а). Воспоминания. М., 1956, стр. 176; Н. А. Т у ч к о в а-О г а р е в а. Воспоминания. М., 1959, стр. 65—70 и 77—80; М. Б а к у н и н. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896, стр. 46—47 и 50—62).

Образ Спешнева ассоциируется здесь с революционно настроенным представителем молодого поколения, который должен обратить на себя особое внимание тем, что,

работая у немца на фабрике, на техническом заводе («настойчивость»), проповедует необходимость, в целях революции, считаться особенно с техникой. Источник, откуда взят образ этого революционера, здесь же указан: «Гражданин», 19 августа, Письма А<лексан>дра (Порецкого). Порецкий, путешествовавший летом 1874 г. по югу России, так рассказывает об одном молодом человеке: «В известной колонии Хортице, в Александровском уезде, есть фабрика земледельческих орудий. Когда я в последний раз был там<...>, вечером, вижу — на двор фабрики въезжает щегольской тарантас, запряженный тройкою превосходных серых коней. — Что за экипаж? — спрашиваю хозяина. — Это за одним из моих рабочих. — Как? за рабочим? — Один соседний помещик, богатый помещик, молодой человек, захотел быть у меня рабочим. — Что же это? От нечего делать, поиграть молотом для собственного увеселения? — О, нет! — воскликнул мой хозяин с некоторой торжественностью. — Отличный работник! Он, конечно, не берет платы, а пожелай, я бы положил ему по меньшей мере 20 рублей в месяц. Вот он сейчас переоденется и выйдет, вы его увидите. — Действительно через четверть часа показался прилично одетый и очень видный <...> молодой человек, сел в тарантас и покатиł со двора».

Недалекий Порецкий с изумлением добавляет: «Так вот какие у нас заводятся работники!» Для Достоевского же это особенная, совершенно новая разновидность среди молодежи, революционер гораздо более трезвый, с ясным взглядом в будущее. Его новые убеждения в том сказываются, что он советует обратить особое внимание на техническую часть: «... примись у нас во всей России хотя бы только одна техническая часть хорошо, то уже произойдет переворот (революция) несравненно сильнейшая и успешнейшая, чем все ваши обращения к народу» (стр. 115).

Стр. 116. *Тон фатишки (Паша)*. — Имеется в виду пасынок Достоевского Павел Александрович Исаев, которому он однажды писал («Письма», т. I, стр. 364): «У тебя на уме хвастовство, задать шик, тон». Хвастался Исаев близостью своей с Достоевским и с начальниками тех учреждений, в которых он служил, тратил нередко последние деньги на галстуки, на манишки, чтобы пофорсить. Таким он был в молодости, таким он оставался и женившись, имея уже несколько детей (о нем см. «Письма» Достоевского, по указателю к т. IV писем, а также «Воспоминания» А. Г. Достоевской).

Стр. 116. *Детство и отрочество. Поэт мелкого самолюбия. Лиза отстраняет литературу*. И на этой же странице несколько дальше: *Нет, это вы поэт мелкого самолюбия, а не граф Толстой (а черемуха)*. — «Детство и отрочество» Толстого, написанное от лица центрального героя, от «Я» Николенки Иртенева, безусловно, должно было быть, наравне с «Исповедью» Руссо, «Жиль-Блазом» и «Дон-Кихотом», в художественной памяти Достоевского, когда стоял перед ним вопрос о жанре: писать ли роман от автора, или от лица Подростка, «робко и дерзко желающего поскорее ступить свой первый шаг в жизни». Самолюбие героя Толстого проявляется «мелко», по-детски, в главе IX «Детства», когда он хочет превзойти Володю и искусством ездить верхом и молодечеством (Л. Н. Толстой, т. I, 1928, стр. 28), в главе XXVII, где говорится о раздутье героя по поводу чувства грусти, к которому всегда примешивалось какое-то самолюбивое чувство — «то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других» (там же, стр. 85—86). Об этом же, о мелком самолюбии, — в следующей главе: об анализе чувства тщеславия... и т. д. и т. д. В частности, внимание Достоевского могла бы особенно привлечь глава VI в «Отрочестве», где самолюбие героя, уже не детское, проявляется в такой сфере, к которой область переживания Подростка подходит несколько ближе. «Я был слишком самолюбив, — говорит Николенка, — чтобы привыкнуть к своему положению, <...> старался презирать все удовольствия <...>, которыми на моих глазах пользовался Володя, и которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждения в гордом одиночестве» (Л. Н. Толстой, т. 2, стр. 21). Показательно, однако, что дальше эта оглядка на трилогию Толстого нигде не повторяется. Слова Лизы в скобках «а черемуха» ясно намекают на то, насколько Достоевский и Толстой противоположны друг другу в основах своего мировосприятия. Сцена с черемухой во второй главе «Отрочества» — это чувство единства со всей окружающей природой: «Необозримое оживое поле <...> расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны осиновая роща <...> как бы в избытке счастья стоит, не шелочнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. <...> Хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. <...> Бегу к кустам, <...> рву мокрые ветки распутившей черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. <...> Кричу я: <...> — Посмотри, как хорошо! <...> — Да ты понохай, как пахнет!» (там же, стр. 12). В сравнении со счастьем освеженной и повеселевшей природы какой жалкой кажется эта угрюмая сосредоточенность самолюбивого одиночества, когда человек, занятый исключительно собою, себя противопоставляет миру, людям, всей окружающей жизни.

Стр. 117. *Мысль изреченная есть ложь*. — Цитата из стихотворения Тютчева «Silentium», из второй строфы: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? /

Поймет ли он, чем ты живешь?/ Мысль изреченная есть ложь». Для Достоевского это, разумеется, не простая, случайно запомнившаяся цитата, она отвечает всему характеру его творчества, в котором он всегда старается высказать самое интимное в своей душе и горько жалуется на невозможность полностью выразить себя. О Тютчеве и о значении его как поэта в развитии русской литературы Достоевский дважды высказался: в первый раз в редакционной заметке «Гражданина», № 30, от 23 июля 1873 г., в «Некрологе», где Тютчев охарактеризован как «один из замечательнейших и своеобразнейших продолжателей пушкинской эпохи» (т. XIII, стр. 587). И еще раз — в главе второй декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г., где речь идет о Некрасове: «Был, например, в свое время поэт Тютчев, поэт обширнее его и художественнее, и, однако, Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое бесспорно останется за Некрасовым» (т. XII, стр. 348).

Стр. 121. *Я уважаю Христа как деятеля...* И на стр. 192: *Я, тетюшка, не то чтоб не уважал вашего Христа...*—Здесь, конечно, реминисценция, в добродушно юмористическом тоне, отношения передовой русской интеллигенции 40-х годов к вопросам религии, в частности к личности Христа и его роли в истории европейского мира. Петрашевцы считали себя атеистами; и действительно, это было в своем роде общество «воинствующих безбожников», по словам Герцена, убежденных, что главная причина порабощения русского народа и заключается в его религиозных верованиях. Утверждение Белинского в письме к Гоголю, о том, что русские «по натуре своей глубоко атеистический народ», в нем «много суеверия, но нет и следа религиозности», — было убеждением большинства прогрессивно настроенных людей той эпохи. В марте 1848 г. на пятницах Петрашевского Спешнев читал трактат об атеизме. Петрашвец Тимковский был до вступления в общество человеком глубоко религиозным. В обществе он слышал от Петрашевского, Толля, Ястржембского и Спешнева такие речи о религии, которые сначала приводили его в ужас, а потом совершенно поколебали его веру, так что он скоро «дошел до положительного отрицания веры христианской <...> Петрашевский вместе с другими доказывал недостоверность всех книг священного писания Ветхого и Нового завета <...>, говорил <...>, что сам господь и спаситель наш Иисус Христос был такой же человек, как и мы, но гениальный» («Петрашевцы». Сборник материалов, т. III. М., Госиздат, 1928, стр. 125). Речь «О необходимости религии в социальном смысле» произнес в пятницу 11 марта 1849 г. петрашвец Толль. Рассуждение его, как показал он на допросе, было построено по Фейербаху, Бауэру и другим мыслителям (там же, стр. 135). Причастный к обществу петрашевцев вольнослушатель университета Модерский показывал на следствии, что Петрашевский хотел его перевоспитать и начал с того, что стал разрушать его религиозные верования. «Перевоспитание» имело успех: Модерский перестал исполнять христианские обряды. От Петрашевского же поневоле заразился безверием чиновник и музыкант Серебряков: «Там не верят в религию господя нашего Иисуса Христа, утверждают, что он простой человек <...> и что религия есть страх и трусость» (В. И. Семеновский. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. I. М., 1922, стр. 153—154). Петрашевский называл Христа «известным демагогом, несколько неудачно кончившим свою карьеру». Все это, в сущности, если не восходит, то, во всяком случае, сливается полностью с мыслями Белинского в его письме к Гоголю, осмелившемуся выступить с книгой, в которой во имя Христа и религии учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумными рылами. «Что вы, — говорит Белинский, — подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма, но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии». Взгляды юных лет, единственного в сущности светлого периода в его жизни, — как бы ни оказалось вскоре столь огорчительное крутое расхождение с Белинским и его кругом, — передать милому юноше-подростку с милой улыбкой о том времени, когда так легко и всезахватывающе верилось в светлое будущее, — так предстала перед Достоевским на этот раз во всей ясности художественная задача. Как было показано выше, в начальных черновых записках об идеальном учителе она мелькнула лишь как мотив третьестепенный на фоне трагических событий Парижской коммуны.

Стр. 125. *Нигилизм без социализма — есть только отвратительная нигилиятина...*— Мысль о том, что нигилисты — это не просто отрицатели всех видов идеализма вроде тургеневского Базарова, а люди, не удовлетворяющиеся узкими «истинами», именно искали общей, всеосмысливающей и всеразрешающей идеи (см. комментарий к стр. 73), — эта мысль получает здесь (несколько ниже) толкование, еще более близкое к статье Н. К. Михайловского «Идеализм, реализм и идолопоклонство», на которую мы ссылались. Здесь прямо уже противопоставляется «нигилизм» и «отвратительная нигилиятина» как высокая идея социализма и тупость, мошенничество и «радость праву на бесчестие».

Стр. 136. *Светская заносчивость, нестерпимая гордость, английский упрямство и щепетильность (жена Байрона), мелкое самолюбие — вот ее великосветская сторона.* — Так представляется Достоевскому, в этот ранний период работы над романом, «мрачная» сторона характера «княгини», Катерины Николаевны Ахмаковой; но тут же добавляется: «хотя и с чрезвычайно светлыми проблесками <...> истинного великодушия», истинного человеколюбия. Такой именно внутренне противоречивой должно было получиться представление о жене Байрона по тем воспоминаниям о Байроне и его биографиям, которые появились в литературе 60-х и 70-х годов на многих европейских языках, и на русском. Интерес Достоевского к Байрону был всегда очень большим. Он называл его «великим и могучим гением, страстным поэтом», в стихах которого тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах» (т. XII, стр. 350). Достоевский мог знать, наверно, работу Маколеев в первом томе его сочинений, появившемся в 1860 г. («Жизнь лорда Байрона, описанная Томасом Муром»), и саму книгу Томаса Мура: «Жизнь лорда Байрона» (СПб., 1865), где вопрос об истинной причине семейной драмы Байрона занимает очень большое место. В книге «Воспоминаний» о нем, появившейся в 1868 г., виновной рисуется леди Байрон: женщина гордая, холодная, узкосердечная, неимоверно упрямая; счастье своего великого мужа она принесла в жертву своим мелким общественным предрассудкам. А приблизительно через год выступает в ее защиту знаменитый автор «Хижин дяди Тома» Бичер-Стоу. В связи с этим разгорелась в европейской печати страстная полемика, нашедшая свое отражение и в русской журналистике, в частности в первой книжке «Отечественных записок» 1870 г., в статье о Байроне, где приводятся, между прочим, выдержки из бумаг леди Анны Бернард, близкой к жене поэта (см. Алексей В е с е л о в с к и й. Байрон. М., 1914).

Стр. 136. ... с подробностями *à la П(ев) Т(олстой)*. — Очевидно, упоминается Лев Толстой (об отношении к его творчеству Достоевского см. ниже в комментариях к стр. 367).

Стр. 137. ... у старого князя был припадок разжижения мозга (Ламанский). Порфирий Иванович Ламанский (1824—1875) — брат известного историка-слависта Евгения Ивановича, занимавший довольно видный пост в Министерстве путей сообщения. В письме к жене от 6 февраля 1875 г. Достоевский пишет: «Вообрази, Порфирий Ламанский умер от того, что закололся в сердце кинжалом!» («Письма», т. III, стр. 148). Самоубийство и было совершенно им на почве умственного расстройства. Достоевский должен был с ним встречаться у брата Евгения Ивановича, имевшего близкое отношение к Славянскому комитету, в котором был однажды товарищем председателя.

Стр. 141. *Не он ли Брусилов? Брусилов — Он...* — Очевидно, это первоначальная фамилия Версилова, отца Подростка; в черновиках выше: «Он», «Его» и т. д. с большой буквы. Несколькими дальше прямо сказано: *Отец его был тогда Брусилов грансеньором (из средней руки).*

Стр. 142. *К швейцару ходит просящий по 20 коп. поручик. Этот поручик рассказывает о [работнике] лодке в Англии, об камне и проч.* — В окончательном тексте это два различных эпизода; рассказывает о камне и другие подобные анекдоты хозяин квартиры Подростка (т. 8, стр. 223—227); эпизод с поручиком, который нахально просит у Версилова пятиалтынный, и тот грозит ему полицией, рассказывает Подросток (т. 8, стр. 299—300).

Стр. 144. *Елейный швейцар учит подростка именно презрению богатства ∞ Великий характер.* — Это первый набросок с упоминанием некоторых черт центрального в идеологическом отношении образа странника Макара Долгорукого.

Стр. 188. *Проиграл 200 000 Некрасову...* — То, что здесь назван Некрасов, которому молодой князь проиграл такую преувеличенно огромную сумму, надо поставить в связь не только со слухами вообще об азартных играх Некрасова в карты и рулетку, но с конкретным «делом» об игорном доме штабс-ротмистра Колемина. В «Гражданине», № 11, от 18 марта 1874 г., в отделе «Петербургское обозрение», так рассказывается об обыске у отставного штабс-ротмистра Колемина, содержавшего заведение для запрещенной игры в рулетку: «Петербургская полиция занялась другою болезнью Петербурга, игрою в рулетку, и в лице товарища прокурора с жандармским офицером пожаловала нежданнным гостем в квартиру офицера К., где застала рулетку и человек 15 игроков». Дом Колемина казался настолько «порядочным», а среди посетителей было столько высокопоставленных лиц, что «Гражданин» тут же сообщает о ропоте, который поднялся, очевидно, в высшем свете по поводу этого события. Событие это породило толки в городе: имела ли право полиция ворваться в частный дом? А домов таких, добавляется дальше, где играют в рулетку и проигрывают тысячи, в Петербурге очень много. О том, что это «болезнь Петербурга», говорил и А. Ф. Кони в своей обвинительной речи по делу Колемина. Вход был свободен для всякого — по рекомендации кого-нибудь из игроков. На вопрос обвинителя, как велика была ставка, один из свидетелей, кандидат прав Петербургского университета Ломновский ответил, что самая большая была в 1000 руб., а самая меньшая — в 25 руб. Колемин был «предан суду по

обвинению в устройстве в своей квартире заведения для запрещенной игры в рулетку» (см. А. Ф. К о н и. Избранные произведения. М., 1956, стр. 431). Судебное заседание петербургского окружного суда состоялось 30 апреля 1874 г., и обвинителем был Кони. Это дело было использовано Достоевским в главе 6-й второй части романа, где рассказывается об игре Подростка и князя Сережи в квартире тоже штабс-ротмистра Зерщикова. У Кони, кроме обвинительной речи, произнесенной им на суде, есть еще об этом деле воспоминания, где он рассказывает о чрезвычайном переполохе в кругу петербургских игроков в связи с предложением прокуратуры наложить арест на деньги Колемина в размере 49 тысяч, находившиеся на хранении в Волжско-Камском банке, с тем чтобы та сумма, которая не будет истребована проигравшимися у него лицами, была обращена в пользу колонии и приюта для малолетних преступников в окрестностях Петербурга (см. там же, стр. 788). В книге «На жизненном пути» (т. 2, СПб., 1912, стр. 117—118) имя одного из этих влиятельных, известных людей Кони точно называет: *Некрасов*, читаем мы там, встревоженный слухами о том, что, в связи с возбуждением прокуратурой дела о содержателе игорного дома штабс-ротмистре Колеmine, будут возбуждены дела о всех лицах, выигравших крупные суммы в клубах и общественных собраниях, а деньги у них будут отобраны, обратился за разъяснением к Кони, который по должности прокурора возбудил дело о Колеmine. Некрасов говорил Кони, что если бы слухи оправдались, то это губительно бы отразилось на издании «Отечественных записок». Толки и слухи, разумеется, дошли и до Достоевского. Об опасениях Некрасова Достоевский наверно услышал от самого Кони, будучи с ним в довольно близких отношениях. Использован в романе и упомянутый в деле Колемина подполковник Бендерский. «Напротив меня, через стол, — рассказывает Подросток, — сидел один пожилой офицер <...> Решайтесь, полковник! — крикнул я, ставя новый кувш. — Прощу оставить и меня в покое-с, без ваших советов, — резко отрезал он мне. — Вы очень здесь кричите» (т. 8, стр. 313—314).

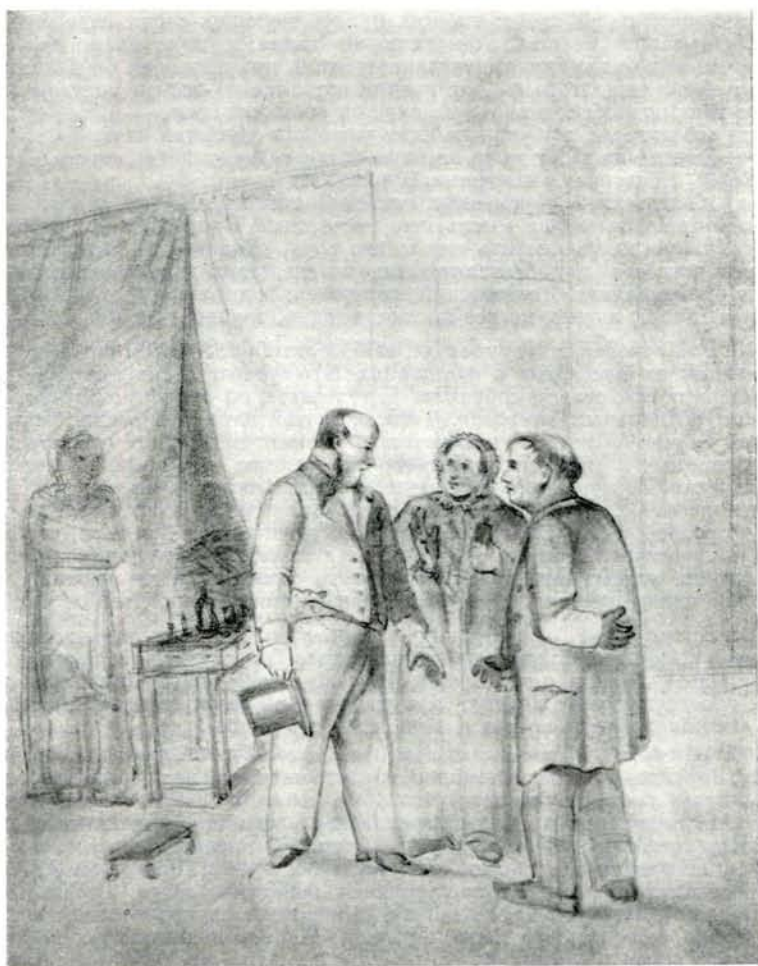
Душевное состояние Подростка после того, как он был заподозрен в краже 400 руб. во время игры у Зерщикова и со скандалом вытолкнут на улицу, — психологическая интерпретация одного газетного сообщения из Казани, напечатанного в «Голосе» за 1874 г.: капитан Ландсберг, играя в клубе, был заподозрен одним из партнеров, что он ведет нечестную игру. Капитан пишет записку, что не в силах выносить такое оскорбление, и «пускает себе пулю в лоб».

Стр. 195. ...только что прочел «Ант(она) Гор(емыку)». — Об этой повести Д. В. Григоровича Белинский сказал: по прочтении этой трогательной повести, где так горестно обрисовано тягостное и бесправное положение крепостного мужика, в голове читателя поневоле «теснятся мысли грустные и важные». Мысли «важные» о необходимости уничтожения крепостного права действительно теснились в голове каждого читателя. Версиков так воспроизводит общественные настроения той эпохи: «Все мы тогда были энтузиасты и так настроены, все кипели ревностью сделать добро, служить отечеству, великим идеям, всему „прекрасному и высокому“, как тогда говорили». По воле цензора Никитенко, повесть кончалась тем, что Антон Горемыка пристает к конокрадам и потом перед отправлением в Сибирь кается миру. Достоевский наверно знал, что у автора повесть имела совсем другой конец: выведенные из терпения крестьяне поджигают дом жестокого управляющего и его самого бросают в огонь. Но независимо от финала, повесть производила в то время, в годы молодости Версикова, потрясающее впечатление.

Стр. 195. «Полинька Сакс» — повесть, которой началась в 1847 г. («Современник», № 12) литературная деятельность А. В. Дружинина, известного критика первой половины 50-х годов, представителя теории «чистого искусства». Как беллетрист он обратил на себя внимание, в сущности, только одной этой повестью, имевшей громкий успех, поскольку это была одна из первых серьезных попыток в общественной жизни того времени поставить женский вопрос на основе «гуманистического» признания «свободы» человеческого сердца. Современники увидели в ней необыкновенную новизну и смелость. На самом же деле она вся проникнута влиянием Жорж Занд, из повести которой «Жак» заимствован не только основной идейный мотив, но и целый ряд положений. Да и сам Дружинин не выдавал эту повесть свою за нечто оригинальное по замыслу: он прямо указывает источник, к которому она восходит. Когда муж Полиньки Сакс узнает, что она полюбила другого, он, не считая себя вправе осудить ее и лишить возможности уйти к любимому человеку, прямо говорит: «пламенные юноши почтут меня новым Жаком».

С именем Дружинина тесно связано учреждение Литературного фонда, он был одним из первых членов его комитета.

Стр. 198. В отделе «Театр и музыка» («С.-Петербургских ведомостей», 1874, 24 сентября, № 263, имеется нечто вроде рецензии на современную немецкую пьесу, осеннюю новинку немецкого театрального сезона. Автор рецензии, пытаясь использовать постановку в целях правоучительных, сурово осуждает спекуляцию, поскольку единственной ее целью является нажива: «Единственная радость спекулятора — его комфорт, его богатство, радость животная, и в этом источник всего дальнейшего



ПРОСИТЕЛИ

Рисунок В. Г. Перова, 1880-е гг.

Русский музей, Ленинград

зла». Следует дальше такая прописная истина: «Только до тех пор и спорится работа, пока главный интерес ее сосредоточивается в ней самой, в результатах ее выполнения, а не продажи».

Стр. 202. В «Московских ведомостях», 1874, № 244, 1 октября, появилась статья, посвященная делу об убийстве за Бутырскую заставой, разбиравшемуся в Московском окружном суде 5 сентября. Поводом к появлению этой статьи было то, что защитник одного из подсудимых отказался от своей речи. Со всех сторон на адвоката посыпались обвинения, а вместе с тем высказывалось живейшее сочувствие «несчастному клиенту», который-де предоставлен был самому, себе в критическую для него минуту заседания суда. Его сравнивали с умирающим лишенными врачебной помощи. В статье излагается сущность дела. Зимой 1873 г. мещанин Лебедев и крестьянин Прокофьев (20 лет) встретились и договорились совершить нападение на дом, в котором жили только женщины и старик дворник. Они проникли в дом и там задушили кухарку, перерыли ее сундуки и нашли 3 рубля, которые разделили между собой. Затем они ломом, найденным в кухне, убили С. Гавреневу и С. Громовскую. Пожарный Смирнов, живший в первом этаже, когда напали на него, поднял крик, убийцы бежали. Обнаружили их не скоро. Через шесть месяцев Лебедев, содержащийся в тюрьме за другую кражу, сознался без принуждения. «Но свет правды проник в эту темную душу лишь на мгновение». Рассказывая на суде ужаснейшие подробности преступ-

ления, этот человек навел трепет на всех присутствующих своим невероятным хладнокровием. Он почти хвастал, энергичными жестами показывая, как он заматывался лентой, как бил каблуком по голове убитой кухарки, как он накидывал петлю. Прокофьев после долгого сопротивления сознался во всем и подтвердил рассказ Лебедева во всех подробностях. Но на суде он снова отперся.

В печати же интерес возбудил не факт ужасного убийства из-за 3 рублей и двух полушубков. Многие из газет даже не передавали содержания процесса. Поднят был шум по поводу «поступка» защитника Прокофьева.

В письме к издателю «Современных известий» некто А. К. — ов, осыпав защитника Прокофьева бранью, высказал мысль, что несчастный Прокофьев лишен был защитника потому, что не мог заплатить ему за его труд. «Человек не родится ни добрым, ни злым, все качества приобретаются им впоследствии и есть влияние общества и среды, где он вращался». Достоевский возмущен: в той же среде, что и Прокофьев, вращаются миллионы людей, но все ли они, однако, таковы, как он?

Стр. 203. В «Московских ведомостях», 1874, 3 октября, № 245, приводится большая корреспонденция из Висбадена о заседаниях 8-го протестантского съезда, на котором профессор Бёмерт представил собранию ряд тезисов по вопросу об участии церкви в разрешении социальных вопросов. Тезисы, после жарких прений, были приняты в следующей форме: «Прогресс человечества во многом зависит от разрешения социального вопроса <...> Языв современного общества не могут быть излечены ни равным распределением имущества, ни вмешательством государства в сферу экономического производства <...> Имущественное неравенство не есть несчастье, а необходимый стимул прогресса <...> Более всего церковь должна позаботиться, чтобы в новом поколении <...> вселить истинно религиозные и нравственные чувства, при которых человек не может подчиняться грубым социализмам социалистов, скрывающих, что главная пружина, движущая ими, есть жажда физических наслаждений».

Стр. 207. *Бисмарк*. — 23 сентября 1862 г. Бисмарк был назначен министром иностранных дел и временным председателем кабинета. В заседании бюджетной комиссии 30 сентября 1862 г., говоря о положении Пруссии и ее будущем, он произнес знаменитые слова, облетевшие всю Европу: «Не речами и не постановлениями большинства решаются великие вопросы времени, а железом и кровью».

Стр. 209. *Сравнение нигилизма с появлением поэта Бенедиктова*. — Сравнение это делает «Он», Версиков, и смысл, очевидно, тот, что нигилизм вначале пользовался у молодежи таким же громким успехом, как в свое время (в 1835 г.) первая книга стихотворений В. Г. Бенедиктова, которая произвела, пишет в своих воспоминаниях И. И. Панаев, «страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире» («Литературные воспоминания», М., 1950, стр. 72). По словам Н. В. Гербея, публика, ослепленная блеском и гармонией бенедиктовского стиха, буквально утопая в море звуков, раскупала книжку нарасхват, так что в самом непродолжительном времени понадобилось новое издание. К первой книге стихов Бенедиктова отнесся благосклонно и сам Пушкин: он нашел у него «превосходное сравнение неба с опрокинутой чайшей» (см. там же), удивительные рифмы, каких нет ни у кого. Через три года (в 1838 г.) была выпущена Бенедиктовым вторая книга стихов тиражом в 3000 экземпляров, и она быстро разошлась без остатка, — успех по тому времени неслыханный. Не подлежит сомнению, что среди восторженных поклонников поэзии Бенедиктова были и братья Достоевские, настроенные тогда весьма романтически. Возможно, что и они, как молодой Тургенев, «воспылали негодованием» против Белинского, который осмелился так резко критиковать поэта, сразу ставшего всеобщим кумиром, находить в его стихах одну «риторическую шумиху», «набор общих мест», «ошибки против языка и здравого смысла». Если и у него есть талант, — говорил Белинский, — то только «стихотворческий», но отнюдь не поэтический. Тургенев, по его собственному рассказу, скоро почувствовал, что Белинский прав, прошло несколько времени, и он уже не читал Бенедиктова. Почувствовали это и другие, гром похвал стал стихать. Спустя всего два-три года разочарование сделалось всеобщим. В 1842 г. Бенедиктов снова выпустил книжку стихов, ее встретили чрезвычайно холодно. Это были годы, когда Достоевский уже весь находился под влиянием идей Белинского и тоже, подобно Тургеневу, по всей вероятности, уже не читал Бенедиктова.

Стр. 218. *Меж тем другой мир книжный, Вальтер Скотт, мечтательный*. — О своем увлечении в годы юного мечтательства романами Вальтера Скотта, в которых реализм бытописания органически сочетается с «поэтической идеализацией характеров», являясь в этом отношении типичным выражением романтизма с его страстным исканием неосуществимых в будничной действительности идеалов добра и красоты, Достоевский говорит с оттенком грусти и благоговения в статье 1861 г. «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (т. XIII, стр. 157). Достоевский пишет: «В юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глядендингом из романа „Монастырь“ Вальтер Скотта». И тут же обобщение: «И чего я не перемечтал в моем

юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моею в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище». Вальтер Скотт рядом с самым возвышенным в глазах Достоевского романтиком — Шиллером (герой «Петербургских сневидней» ими обоими одинаково воспринимает свою возлюбленную Надю, которую он называет Амалией; читает ей попеременно то Шиллера, то Вальтера Скотта) — один из тех великих европейских писателей: Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс наиболее поняты и приняты в России, «роднее и понятнее русским», чем другим европейским народам, и это служит доказательством, что всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского (т. XI, стр. 309).

Стр. 221. *Республиканская курица Мишле; младоемие в старческих годах.* — Этот единственный отзыв о Мишле (ни в художественных произведениях, ни в статьях литературно-публицистических, ни в письмах — нигде о нем у Достоевского ни слова), да еще столь пренебрежительный, не может быть отнесен к главным историческим работам Мишле: «История Франции» и «История Французской Революции» 1847—1853, или «История XIX века» в 3 томах, из которых первый вышел в 1872 г., а два остальных уже после его смерти в 1875 г., как раз в период писания Достоевским «Подростка».

Достоевский, по всей вероятности, знал сочинения Мишле и по вопросам общественно-политическим: «Des Jésuites» (1843), «Du prêtres, de la femme, de la famille» (1845) и «Le peuple» (1846). Среди запрещенных книг, по которым петрашевцы создавали свои революционные воззрения, рядом с Луи Бланом, Прудоном и другими социалистами фигурирует и Мишле (см. «Дело петрашевцев», т. III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 51, 324, 329). Должен был знать Достоевский его работу «Pologne et Russie» (1852) и уже безусловно «La Pologne martyre» (1863), когда он путешествовал по Европе, был во Франции и довольно долго в Париже, знал и полемичку, возникшую между Мишле и Герценом как раз по вопросу, центральному в системе воззрений Достоевского: о роли и назначении русского народа в истории всего человечества. Замечательная статья Герцена «Русский народ и социализм» была адресована Мишле в виде письма к нему по поводу его «Légendes démocratiques du Nord» (1854). Общеизвестны были основные историко-философские идеи Мишле, высказанные им в одном из наиболее ранних своих трудов «Introduction à l'histoire universelle» (1831) о трех главных путях человечества к свободе: христианстве, реформации и революции. К идеям свободы духа должно идти человечество — и это является главной темой одного из поздних его очерков «Bible de l'humanité» (1864). Как видим, все эти вопросы полностью принадлежат к сфере идей, волновавших Достоевского. Остается допустить только одно: в стиле свойственной ему запальчивости Достоевский отзываясь в этой записи о Мишле не как об историке и философе, а как об авторе сентиментальных очерков, сочиненных совместно с молодой женой и действительно довольно шаблонных по мысли: «L'Amour» (1858), «La femme» (1860), «De la montagne» (1868), «Nos fils» (1869), где назначение человека формулировано действительно очень узко, «по-куриному»: «семья, отечество, природа».

Стр. 221. *...по плечу золотой середине. Тургенев.* — Тургенев для Достоевского — один из самых памятных людей среди ближайших сверстников, по которым он обычно мерил ход своей эволюции в области художественного творчества, еще больше — в области мировоззрения. Драматично противоположные по своему социальному происхождению и положению, по своему психическому складу, мирозерпанию и литературной судьбе, они находились друг к другу в отношениях, полных глубокого драматизма как в области личной, так и литературной. Личные коллизии между ними начались, по-видимому, очень скоро после их первого знакомства. В травле, которой подвергался Достоевский, быть может, еще до ухода Белинского и его «оркестра» из «Отечественных записок» (в 1846 г.), Тургенев, несомненно, играл одну из самых главных ролей (см. комментарии к письму от 14 мая 1880 г. — «Письма», т. IV, стр. 412). В первой половине 60-х годов их отношения внешне были довольно приятные; состояли они и в переписке; Тургенев печатал свои «Призраки» в «Эпохе» (январь 1864 г.); в 1865 г., когда Достоевский совершенно разорился, помог ему и материально, и все же это были люди, крайне далекие друг другу. В 1867 г. произошел полный разрыв между ними в связи с ссорой по поводу «Дыма», из-за «Потугинских идей» (см. «Письма», т. II, стр. 30—32, а также письмо Тургенева к П. И. Бартеневу от 22 декабря 1867/3 января 1868 г. в кн.: И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем, изд. «Наука», т. VII. М.—Л., 1964, стр. 17—18, и «Дневник» А. Г. Достоевской, стр. 193—200). Об отношениях Достоевского и Тургенева см.: Ю. Н. и К. о л ь с к и й. Тургенев и Достоевский. История одной вражды. София, 1921; А. С. Д о л ь н и н. Тургенев в «Бесах». — Сб. «Достоевский». М.—Л., «Мысль», 1925; «История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева». Под ред. И. С. Зильберштейна. М.—Л., «Academia», 1928.

В черновых записях к «Подростку» Достоевский мог высказать полностью свое отношение к художественному таланту Тургенева, подчеркивая его слабость как психолога, проявившуюся для Достоевского особенно неприемлемо в этюде «Казнь Тропмана» («Вестник Европы», 1870, № 6) в трактовке душевного состояния человека перед смертной казнью. Автор так определяет свою цель: «Я буду доволен и извиню самому

себе свое *неуместное любопытство* (то, что присутствовал во время казни), если рассказ мой доставит хотя несколько аргументов защитникам отмены смертной казни или, по крайней мере — отмены ее публичности». Достоевский возмущен тоном рассказа, в котором Тургенев все время говорит главным образом о себе. В письме к Страхову от 11/23 июня 1870 г. Достоевский еще сильнее выражает свое возмущение «Казнью Тропмана»: «Вы можете иметь другое мнение, Николай Николаевич, но меня эта напыщенная и щепетильная статья возмутила. Почему он все конфузится и твердит, что не имел права так быть? Да, конечно, если только на спектакль пришел; но человек, на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то. Номо sum et nihil humanum...» и т. д. Всего комичнее, что он в конце отвертывается и не видит, как казнят в последнюю минуту: «Смотрите, господа, как я деликатно воспитан! Не мог выдержать!». Впрочем, он себя выдает: главное впечатление статьи, в результате — ужасная забота, до последней щепетильности (о себе, о своей цели и своем спокойствии, и это в виду отрубленной головы!» («Письма», т. II, стр. 274).

Стр. 221. *О Шерстобитове (Путилин). Вид суровый...* — Первоначальная запись новеллы, которую рассказывает Макар Долгорукий о Скотобойникове (т. 8, стр. 427—440).

Стр. 221. *Маркус — рассказывающий, как на лодке дали знать купцы в Англию в три дня.* — И дальнейшие анекдоты, которые рассказывает хозяин квартиры Подростка. Указан здесь «живой» источник этих рассказов, в которых Версилов видит человеческую доброту: ему хочется, этому милому человеку, это сообщить, «чтоб наградить счастьем слушателя, и для того, чтоб быть достойным всего прекрасного и высокого». Летописец семьи Достоевских, Андрей Михайлович Достоевский вспоминает добрым словом Федора Антоновича Маркуса, эконома в больнице на Божедомке, где лекарем был отец Достоевских Михаил Андреевич: «Его квартира была в этом же каменном флигеле, как раз над нашею квартирой и такого же расположения. Как ближайший сосед, он хаживал к нам и часто проводил вечера, разговаривая с папенькой и маменькой». Рассказывал он, очевидно, действительно очень интересные анекдоты в соответствии с культурным уровнем родителей Достоевского, умственно ограниченного отца и наивно-сентиментальной матери. На мальчика 8—10 лет, Андрея Достоевского, рассказы эти производили огромное впечатление: «Я бывало, уставлю на него глаза, только и смотрю, как он говорит, и слушаю его» (А. М. Достоевский. Воспоминания. М., 1930, стр. 31).

Стр. 222. *Рассказ об обращении св. Павла...* — В «Деяниях св. апостолов» рассказывается, как Павел во время одного из своих путешествий побывал в Иерусалиме. Там его в храме схватили ассирийские иудеи, возмутили весь народ, повлекли вон и тотчас заперли двери в храм. Когда Павла вели в крепость, он попросил разрешения обратиться к народу. Он рассказал о том, что жил сначала фарисеем во всей строгости учения. Рассказал, что многих святых заключал в темницы, часто мучил их и принуждал хулить Иисуса. И вот, однажды, он шел в Дамаск, чтобы тамошних христиан привести в оковы в Иерусалим на истязания. Но когда был в пути и приближался к Дамаску, около полудня внезапно раздался голос Христа, который и обратил его в новую веру («Деяния святых апостолов». — Библия. М., 1956, стр. 1128—1131).

Стр. 223. «Голос», 5 августа 1874 г., № 215. — Имеется в виду заметка в «Земских известиях» о том, как два мировых посредника не были допущены съездом в число избирателей и удалены со съезда. «Не знаю, — пишет корреспондент, — насколько справедливы слухи, но деятельность посредников рисуют в весьма непривлекательном виде. Рассказывают, например, что один из них объявил в присутствии многих лиц, что он желает быть посредником только для того, чтоб получать 1500 руб. содержания; но исполнять обязанности, сопряженные с его должностью, он не хочет и не будет, и, в подтверждение своих слов, каждого просителя-крестьянина, который явится к нему не в урочный час, он выпроваживает от себя кулаками».

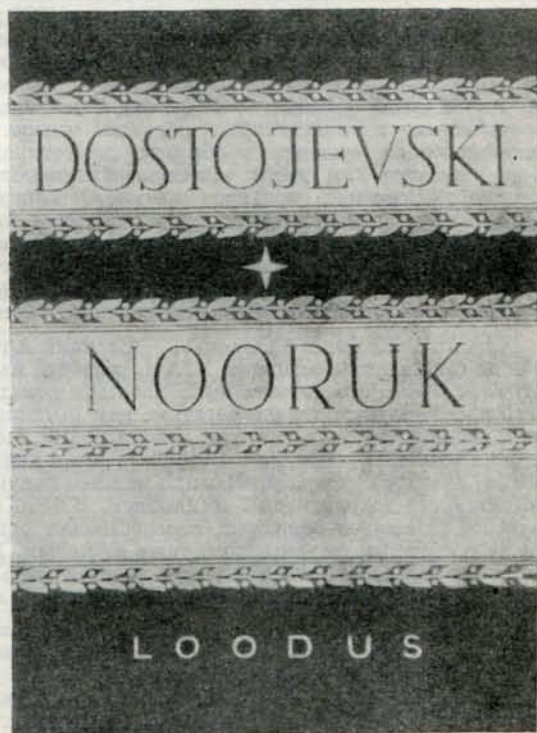
Стр. 240. Александр Иванович Чернышев (1786—1857) — военный министр (с 1827 г. по 1852 г.). В газете «Биржевые ведомости», 1873, № 225, 226, 234, 258, печатались материалы «Из Воспоминаний и из Памятной книжки петербургского старожилы В. Бурнашева. (Клуб анекдотистов и каламбуристов)». Чернышев упоминается в этих анекдотах дважды.

Стр. 240. *О том, что на свадьбе нотариус не знал Виктора Гюго и Дюма, а один из писателей назвал себя проприетером, и тот обращался к нему с почтением.* — Это, очевидно, из материалов к анекдотам, которые старый князь мог рассказывать Подростку. Нотариус смешон своей крайней необразованностью — не читал даже таких всем известных писателей, как Дюма и Гюго, и слово «проприетер» понимает как особо высокое звание. Во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» («Время», 1863, кн. 1) Достоевский так проицирует над легкомыслием француза, который «все знает, обо всем пишет»: «после своей биографии тотчас же начинает рассказывать рус-

* Я — человек, и ничто человеческое... (лат.).

скую повесть, конечно, истинную, взятую из русских нравов, под названием „Petroouche-na“, имеющую два преимущества, во-первых, что она верно характеризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт Сандвичевых островов. Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер (поэтесса XVII века. — А. Д.); похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарования, подражавший Лафонтену, и с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертью (следует биография) и с успехом подражавшему в своих романах Александру Дюма» (т. XIII, стр. 35—36). Романы Александра Дюма в глазах этого «серьезного французского исследователя» — высшее, что есть во французской литературе, значит, с его точки зрения, — и в мировой, и это высшая похвала Крылову-«романисту».

Отношение к Дюма в русском обществе и русской литературе лучше всего, с точки зрения Достоевского, характеризует наше развитие, наш рост в ту эпоху, когда «во все образованное сословие наше стал проникать анализ», — разумеется натуральная школа во главе с Гоголем и Белинским: «Поль де Кока мы еще тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию» — «выдумщиков», которые пишут «ужасно много с необычайною легкостью и быстротой». В статье о «Выставке в Академии художеств» о Дюма сказано, что он поражает чрезвычайною эффектностью, и именно чрезвычайною, потому что обыкновенных вещей он вовсе и не пишет, презирает вещи обыкновенные. Занимательность его композиций не подлежит сомнению. Дюма читался с жадностью, с азартом (т. XIII, стр. 540). Интерес к Дюма был настолько общепризнанным в России — особенно в первую половину прошлого века, а в широких читательских кругах — и позже, в течение всего века, что он стал мерилом популярности всякого писателя, успеха той или иной другой его вещи. В письме к брату начала 1847 г., утешая себя тем, что «Двойник» хоть и отрицательно оценен в критике, но «исподтишка (и от многих) такие слухи, что ужас. Иные прямо говорят, что это произведение *чудо* и не понято», Достоевский добавляет, что для иных оно «интереснее дюмасовского интереса» («Письма», т. I, стр. 108). Что касается Гюго, упоминаемого здесь рядом с Дюма, то сопоставлены они, конечно, только по одинаковой популярности: Гюго также читают с захватывающим интересом. Но его ценит Достоевский чрезвычайно высоко. Он нашел для него в годы юности (в письме к брату от 1 января 1840 г.) такие восторженные слова: «Hugo как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направленьем поэзии, и никто не сравнится с ним в этом,



ОБЛОЖКА ЭСТОНСКОГО ИЗДАНИЯ
РОМАНА «ПОДРОСТОК»
(Таллин, 1940)

ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик — Шекспир <...> ни Байрон, ни Пушкин» («Письма», т. I, стр. 58). Патетический тон, в сущности, окрашивает высказывания Достоевского о Гюго в течение всей жизни (см. дальше комментарий к стр. 342).

Стр. 246. *Подросток об Отелло: Знаете ли, за что убил Дездемону, за то, что идеал потерял.* И ниже, на стр. 340: ... *Отелло не для того убил, а потом убил себя, что ревновал, а потому, что у него отняли его идеал.* — Так сказано и в окончательном тексте (т. 8, стр. 284). Высокий дух, истинный герой, великодушный, доверчивый, наивный, как дитя, став жертвой «полудьявола», коварного мстительного Яго, Отелло собственными руками убил свой идеал, высшее совершенство красоты, ума и непорочности, какое только возможно на земле, и должен тут же сам погибнуть — ему больше нечем и не для чего жить: «Кто преодолеть судьбы веленья может? Моя пора минула <...> Мой путь свершён, и здесь его конец; здесь пристань та, где мой корабль спускает все паруса». Мужественное сердце охвачено печалью из очей, «к слезливым ощущениям непривычных, теперь текут струей обильной слезы». Последние его слова, когда, умирая, падает на труп: «С поцелуем я убил тебя, и с поцелуем я смерть свою встречаю близ тебя» (В. Шекспир. Собр. соч., т. III. СПб., 1903, стр. 360—362. Перевод П. И. Вейнберга.)

Эта последняя сцена Отелло с Дездемоной явно ощущается как фон, как скрытый план в сцене Версилова с Ахмаковой, тоже последней. Катерина Николаевна Ахмакова, как Дездемона, тоже идеал нравственного совершенства, целомудрия, красоты, веселого ума — «живая жизнь». Она в глубоком обмороке, точно мертвая. Версиров «приспально смотрит ей в лицо и вдруг, нагнувшись, целует ее в бледные губы». И после этого сейчас же следует его покушение на самоубийство. Но катастрофы не произошло. Не обладая душевной цельностью Отелло, «рефлексер» оказался героем драмы без трагического финала.

Стр. 249. *Князь: Теперь ходят новые люди, все с бородами и тоже с тою мыслию, чтоб заключить по физиономии: читает ли он «Пиквицкий клуб».* — «Новые люди, все с бородами», по всей вероятности, передовая народнически настроенная молодежь. По убеждению Достоевского, эта молодежь должна была безусловно читать «Посмертные записки Пиквицкого клуба» Диккенса, его первое крупное произведение, сразу сделавшее его имя известным всей Европе. Пиквик, главный герой этого произведения, каждый раз возникал в памяти Достоевского, когда он создавал своих «положительно прекрасных героев»: князя Мышкина в «Идиоте», в какой-то мере на него похожего, Шатова в «Бесах», идеального учителя в «Подростке», к которому в окончательном тексте восходит, как мы знаем, странник Макарь Долгорукий и, наконец, Алешу в «Братьях Карамазовых».

В письме к С. А. Ивановой от 1 января 1868 г., в самом начале работы над «Идиотом», Пиквик Диккенса ставился рядом с Дон-Кихотом. Они прекрасны, — пишет Достоевский, — единственно потому, что в то же время и смешны. «Являются сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному — а стало быть, является симпатия и к читателю» («Письма», т. II, стр. 71). Пиквик для Достоевского одно из самых совершенных произведений в области жанра. В статье «По поводу Выставки» Диккенс вообще ставится в образец, до которого «нашему жанру далеко», в частности именно как автор «Записок Пиквицкого клуба», этого высшего образца истинного реализма в противоположность эмпиризму. Диккенс заметил своего героя только в многообразии наблюдаемой им действительности, «создал лицо и предстал перед ним как результат своих наблюдений». «Таким образом, это лицо так же точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс и взял только идеал действительности» (т. XI, стр. 78). Так опирался Достоевский на творчество Диккенса, создавая свой собственный художественный метод.

Стр. 255. ...*все эти Кокоревы...* — Василий Александрович Кокорев — один из крупнейших финансистов середины XIX в., выходец из мещан маленького города Солигалича. Биография его должна была казаться поистине соблазнительной для Подростка с его идеей стать таким же богатым, как Ротшильд. Кокорев в юности, едва научившись кое-как читать и считать, помогал отцу, бывшему сидельцем в питейных домах, в конце 1840 г. переехав в Петербург, стал каким-то образом известен министру финансов, сделался комиссионером по винным откупам, разбогател, к началу 60-х годов состояние его доходило до 7 миллионов. В 1870 г. основал Волжско-Камский банк и Северное страховое общество, способствовал развитию нефтяного дела на Кавказе, вместе с крупным финансистом, тоже из мещан, Губониным построил Уральскую железную дорогу. В 50—60-х годах он печатал статьи по финансовым вопросам, главным образом, в «Русском вестнике», и Достоевский, возможно был с ним лично знаком.

Стр. 257. *Когда он ночью у Васина, то излагает ему часть сущности идеи (Санхо-Панса), и дальше на стр. 261: но в этом документе было что-то такое, напоминавшее остров в Балтийском море...* И позднее: *У тебя идея? Независимым королем острова.* «Санхо-Панса», «Остров в Балтийском море», «Независимый король острова» — это все намеки, ведущие к «великой книге» Сервантеса, в частности, к мечте Санчо Пансы

кого несколько апельсинов и пряников, которые принесла ему бедная мать. А четыре двугривенника, полученные им при прощании с ней, отобрал у него Ламберт, на них накупили пирожков и шоколаду и даже его не попотчевали. Спрятал Подросток тот синенький клетчатый платочек со следами от крепко завязанного на кончике узелочка, в котором были эти гривеннички. И ночью, под одеялом, чтоб никто не видел и не слышал, прижимал платочек к лицу и целовал его и плакал: «Мамочка, мама<...> Где ты теперь, гостя моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчишка, к которому приходила?.. Покажись ты мне хоть разок теперь<...> только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки» (т. 8, стр. 372). Можно бы привести еще целый ряд параллелей, свидетельствующих, конечно, не о заимствованиях, но о том, что в этот момент, когда шла работа над «Подростком», Диккенс неотступно стоял перед Достоевским в художественном его воображении. Укажем здесь же, между прочим, на одно место в третьей части романа, где один эпизод из «Лавки древностей» Диккенса интерпретируется с исключительной глубиной и проникновенностью. Здесь вспоминаются еще раз использованные в «Униженных и оскорбленных» «сумасшедший этот старик и эта прелестная тринадцатилетняя девочка, внучка его». Закатывается солнце, и этот ребенок на паперти какого-то готического средневекового собора, «вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой <...> А тут, подле нее, на ступеньках, сумасшедший этот старик, дед, глядит на нее остановившимся взглядом...» И следует лирический восторг человека, преклонившегося в благоговении перед этой грустной красотой: «Знаете, тут нет ничего такого, в этой картинке у Диккенса, совершенно ничего, но этого вы ввек не забудете, и это осталось во всей Европе — отчего? Вот прекрасное! Тут невинность!» (т. 8, стр. 483). Сопоставления с «Коперфильдом» показывают, как Достоевский все переделывает по-своему. Он прежде всего усиливает до чрезвычайности эмоциональную окраску: вместо едва намеченного социального контраста у Диккенса — глубочайшая трагедия сложной детской души, одинокой, всеми оставленной, уязвленной на всю жизнь и ежеминутно оскорбляемой. Сентиментальные интонации у Диккенса, легкая полугрустная усмешка (спрятал кусок бумаги, как драгоценность — и все) превращаются в рыдание с истерическими всхлипываниями и причитаниями.

Стр. 258. *Вот успевают же штундисты, кажется, чего бы противоположнее народному русскому духу?* — Кто-то (у долгушинцев), может быть, Васин, а может быть, и Версилов, должен произнести эту фразу в возражение кому-то, утверждающему, что социализм чужд русскому духу и потому «не успевает».

Штундизм, или штундобангизм, — секта, появившаяся вначале на юге России (впервые в деревне Основа Одесского уезда). К концу 1870 г. штундисты уже официально обнаружены в 11 местностях Одесского, Елисаветградского и Анапьевского уездов. Вскоре они появляются и в Киевской губернии, их много на юге, появляются они и на севере, в Орловской губернии, несколько позднее — в Калужской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Смоленской и т. д. до самой Москвы. Штундисты отрицают догмы православной церкви: Богородица и святые — обыкновенные люди, не могущие ходатайствовать за человек перед богом; каждый должен молиться сам за себя, а не надеяться на молитвы церкви и святых; богу надлежит поклоняться только «в духе и истине»; поклонение иконам и кресту — идолопоклонство. Современники Достоевского оценивали штундизм как течение в области религии, определенно рационалистическое (см. статью «Рационализм на юге России». — «Отечественные записки», 1878, № 3 и 5). Достоевскому, проповедовавшему, что «не православный не может быть русским», штундизм действительно должен был казаться резко противоположным русскому духу.

Стр. 264. *Подросток у Васина о Колосове...* — В черновиках имеется дальше целый ряд записей непосредственно о Колосове, как и об его «эквиваленте» — Стебелькове. В окончательном тексте он связан с молодым Версиловым в период его пребывания за границей и, главное, с молодым князем Сокольским и всей «гремящей аристократической молодежью». Восходит этот образ к газетному материалу, к громкому процессу о подделке акций Тамбовско-Козловской железной дороги («Голос», 1874, № 46 и далее). Дело слушалось в Петербургском окружном суде в феврале 1874 г. Обвинителем был А. Ф. Кони. Обвинялся вместе с врачом-акушером Колосовым — не то его служащий, не то компаньон — А. Ярошевич и библиотекарь Медико-хирургической академии, по происхождению дворянин старинного рода, Никитин. Отец Ярошевича, несколько лет тому назад осужденный по делу организованной шайки «письмоносцев», вынимавших деньги из почтовых пакетов, бежал за границу и там, в Брюсселе, устроил на деньги Колосова типографию, в которой стал печатать поддельные акции Тамбовско-Козловской железной дороги. В январе 1871 г. Колосов, молодой Ярошевич, его невеста О. С. Иванова и жена библиотекаря Никитина ездили за границу, где пробыли около трех месяцев, и вернулись обратно, захватив с собою несколько сот фальшивых акций. В эти три месяца, отослав от себя Ярошевича, Колосов сошелся с его невестой, подчинив ее всецело своей воле. По его приказанию, она скрывала от жениха свою связь; уверяя Ярошевича в любви, она настраивала его против Колосова, рассказывая

ОБЛОЖКА ЧЕШСКОГО ИЗДАНИЯ
РОМАНА «ПОДРОСТОК»

(Прага, 1961)



о своих обидах и оскорблениях, умоляя о защите и требовала мести. В результате компания вся перессорилась, и Ярошевич с Никитиным решили убить Колосова. Они боялись, что он их предаст, несмотря на то, что его роль в подделке акций была самая главная. Колосов казался им всемогущим, он выдавал себя за важного агента III Отделения, которое, как показывал он на суде, поручило ему вступить за границу в сношения с Марксом, выведать у него тайны Интернационала, а также захватить там Нечаева и Серебряникова и привезти их в Россию. О том, что Колосов имел сношения с III Отделением и ему действительно было что-то поручено, компания, очевидно, знала.

Колосов начал судебное дело по обвинению своих компаньонов в покушении на его жизнь, а те уже раскрыли всю историю с фальшивыми акциями.

На предварительном следствии и на суде выяснились следующие факты из прошлого Колосова. В 1860 г. он подвергался уголовному преследованию за ложное обвинение валдайского горючего в подделке фальшивых кредитных билетов. Сам же составил ложное завещание помещицы Павловой, по которому имение ее перешло к нему. В 1866 г. он вместе с молодым Ярошевичем стал заниматься отдачей денег подклад пенсионных книжек, а с 1869 г. открыл кассу ссуд с основным капиталом в 5000 рублей. Кассу он назвал *Mont de piété* и утверждал, что устроил ее с целью «благотворствовать бедному люду». Среди молодежи он играл обыкновенно роль человека, угнетенного судьбою, несчастного страдальца, пострадавшего за правду. За границу выдавал себя за беглеца из Сибири, как он объяснял на суде, для того, чтобы приобрести доверие революционеров и получить от них бумаги.

На Достоевского этот судебный процесс произвел очень большое впечатление. В письме к В. П. Мещерскому от 4 марта 1874 г. он пишет: «Ужась как хотел написать про Ольгу Иванову из процесса о подделке Тамбовских акций» («Письма», т. III, стр. 92—93). Ольга Иванова, дочь статского советника, его особенно поразила «как знамение времени», и рядом с ней — Колосов, которого правительство «потянуло в суд и осудило в вышеупомянутом процессе». Как уже было указано, дальше в черновых записях Колосов несколько раз упоминается под своей фамилией в приблизительно той же роли, в какой в окончательном тексте выведен Стебельков. На некоторых страницах герой назван то Колосов, то Стебельков (колос — стебель; вместо зерна — солома; фамилия снижается семантически).

В судебном отчете о Колосове сказано скупо: Колосов высокого роста, брюнет с усами; лекарь-акушер. В романе его портрет детализирован и несколько изменен, внешние черты осложняются, отражая его душевные качества. Он появляется впервые в восьмой главе первой части, на квартире у Васина (т. 8, стр. 158—167).

И дальше такой портрет: «Волосы его, темно-русые с легкой проседью, черные брови», вместо усов (по судебному отчету) — только «большая борода»; хорошо одет, «очевидно, у лучшего портного, как говорится, „по-барски“»; он «не то что развзвено, а как-то натурально нахален». Еще не успел этот человек сесть, как Подростку, находившемуся тогда в комнате Васина, вдруг померещилось, что это должно быть «некий г. Стебельков», о котором он уже что-то слышал, «что-то не хорошее». Подросток запомнил только, что «у этого Стебелькова был некоторый капитал и что он какой-то даже спекулянт и вертун». Стебельков заговаривает с Подростком, подмигивает ему, нарочно его сбивает какой-то косноязычной нелепой болтовней и вдруг переходит на тему о железнодорожных акциях: «Бресто-граевские-то ведь не плепнулись, а? Ведь пошли, ведь идут!» И тут же о Версильове, о грудном ребенке от Лидии Ахмаковой: «Прелестная дева ласкала меня...» «Фосфорные-то спички — а?» На восклицание Подростка: «Что за вздор, что за дичь! У него никогда не было ребенка от Ахмаковой!» — Стебельков отвечает: «Вона! Да я-то где был? Я ведь и доктор, и акушер-с <...> Правда, я и тогда уже не практиковал давно, но практический совет в практическом деле я мог подать».

Во второй главе части второй Стебельков снова появляется — в квартире молодого князя Сокольского. У князя важный гость, «с аксельбантами и вензелем», один из представителей высшего петербургского света, Дарзан. На вопрос к нему другого гостя: «Вы были, кажется, в военном?» Дарзан отвечает: «Да, в военном, но благодаря... А, Стебельков уж тут? Каким образом он здесь? Вот именно благодаря вот этим господчикам, я и не в военном, — указал он прямо на Стебелькова и захохотал. Радостно засмеялся и Стебельков, вероятно, приняв за любезность». По уходе Дарзана, «чуть он вышел, Стебельков вскочил с места и стал среди комнаты, подняв палец кверху: — Этот барчонок следующую штучку на прошлой неделе отколол: дал вексель, а бланк надписал фальшивый на Аверьянова. Векселечек-то в этом виде и существует, только это не принято! Уголовное. Восемь тысяч».

Подросток зверски взглянул на него: «И наверно, этот вексель у вас?» «У меня банк-с, — ответил Стебельков, — у меня *Mont de piété*, а не вексель. Слыхали, что такое *Mont de piété* в Париже? хлеб и благодеяние бедным; у меня *Mont de piété*...» (т. 8, стр. 248—252). О том, что у него *Mont de piété*, он говорит и в главе третьей, когда предлагает денег Подростку, чтобы он не препятствовал князю Сокольскому, у которого беременна сестра Лиза, жениться на сестре Анне Андреевне. Подросток еще не знает об истории Лизы с Сокольским и, думая, что Стебельков хочет дать ему займы, говорит: «Но вы, я слышал, дерете проценты невыносимые». «У меня *Mont de piété*, а я не деру. Я для приятелей только держу, а другим не даю». И автор дальше поясняет, что «этот *Mont de piété* был самая обыкновенная ссуда денег под залоги, на чье-то имя, в другой квартире, и процветавшее» (т. 8, стр. 257). Касса ссуд Колосова была на имя Ярошевича.

Из судебного отчета видно, что из всей компании по подделке тамбовских акций Никитин, «дворянин старинного рода», был менее других виновен. Такую же роль автор дает князю Сергею Сокольскому. В главе седьмой второй части Сергей Сокольский, исповедуясь перед Подростком, говорит: «А главное, кажется, теперь уже все кончено, и последний из князей Сокольских отправится в каторгу. <...> Я — уголовный преступник и участвую в подделке фальшивых акций —ской железной дороги» (т. 8, стр. 337). Участие его заключалось в том, что он за 3000 рублей дал Стебелькову рекомендательное письмо к одному русскому эмигранту, «не русского, впрочем, происхождения», который в России однажды уже был замешан в подделке бумаг. Стебелькову нужен был «артист, рисовальщик, гравер, литограф и прочее, химик и техник, и — с известными целями. О целях он высказался даже с первого раза довольно прозрачно». Стебельков теперь пугает князя Сокольского. Он, конечно, не донесет, чтобы себя не предать. Но акции, которые «давно в ходу и еще будут пущены в ход, но, кажется, где-то уж начали попадаться». И в случае, если дело откроется, то они его, Сокольского, втянут (т. 8, стр. 338).

Этот русский эмигрант «не русского, впрочем, происхождения» — конечно, Ярошевич, по происхождению поляк. Из России он бежал, как мы знаем, после суда над ним по делу «письмоносцев». Он действительно был мастер на все руки: и гравер, и литограф, и рисовальщик, и техник; тамбовские акции, как выяснилось на суде, были подделаны очень неплохо.

Использованы и сведения из судебного отчета о близости Колосова к III Отделению. Стебельков каждый раз пытается говорить с Подростком на революционные темы. Он знает про кружок Долгушина-Дергачева и хочет туда втереться. Подростку он однажды делает предложение «познакомить его с господином Дергачевым, так как вы там бываете!». На вопрос Подростка, для чего это ему нужно, Стебельков прямо отвечает, что «у Дергачева, по подозрениям его, „наверно, что-нибудь из запрещенного, из запрещенного строго, а потому, исследовав, я бы мог составить тем для себя некоторую выгоду“».

Как уже было выше указано, наименее виновным из этой компании поддельщиков фальшивых акций был библиотекарь Медико-хирургической академии Никитин. В судебном отчете приведено следующее письмо его к жене: «Я положительно никогда

не сознаюсь, ни на следствии, ни на суде. На суд я не попаду, ибо до суда умру, но умру не ради общества, а ради самого себя, жены и родных. Да, я умру еще не осужденным. Я не могу, я не хочу, я не должен жить. Быть сильным или каторжником — это почти все равно <...> Дело ясное, думать и надеяться не на что, и чем скорее умереть, тем лучше. Я и оправдание-то не перенесу, если б оно и было возможно. Все равно, мошенник на целый свет, помилованный присяжными. Меня могут спасти две вещи: 1) Если я буду иметь паспорт, уеду в Галицию, где русский язык, или пошлюсь по России в отдаленных местностях с каким-нибудь русским паспортом <...> Нет лучше не слушаться, а прямо умереть, и умереть не осужденным, а только находящимся под стражей <...> Родные все опозорены и унижены мною на веки <...> Голова моя очень дурна. Я теряю силы, смысл и разум. Равнодушие, апатия, тоска, отчаяние и ужас ни на одну минуту не оставляют меня.

В черновиках несколько раз говорится об отдаленных местах России, о Ташкенте, куда можно спастись Сергею Сокольскому от преследований Стебелькова. Но мысль о самоубийстве не покидает его ни на минуту. Перед тем как донести на себя, он, как и Никитин, тоже решает, что «лучше не слушаться, а прямо умереть, и умереть не осужденным», чтобы не опозорить свой княжеский род.

В своем письме к Подростку он так и пишет: «Я виновен перед отечеством и перед родом моим и за это сам, последний в роде, казнию себя <...> Я <...> нашел в себе, наконец, настолько твердости или, может быть, лишь отчаяния, чтоб поступить так, как поступаю теперь» (т. 8, стр. 381).

Стр. 268. ...у него <у младшего князя, Сергея Сокольского с княгиней> было вроде, как у меня с Е. П. еще при жизни мужа. И в другом месте: *Обман в том, как Ел. П-на*. Таким образом: Ахмакова обманула молодого князя, как Е. П. И еще: *У него <у князя> с княгиней*, вроде как у меня с Е. П. И наконец, такая запись: *Подросток разъясняет Анне Андреевне историю Е. П-ны. Это была шалость, я знаю из первых рук*. — Речь идет о Елене Павловне Ивановой (невестке сестры Федора Михайловича, Веры Михайловны). Об ее отношениях с Достоевским рассказывает, не совсем точно, Анна Григорьевна в своих «Воспоминаниях» (стр. 85): «Все Ивановы очень любили свою тетку по отцу, Елену Павловну, муж которой уже много лет был безнадежно болен. В семье решили, что по смерти его Елена Павловна выйдет замуж за Федора Михайловича и он навсегда поселится в Москве». Сам Достоевский так писал Анне Григорьевне (в письме от 29 декабря 1866 г.) еще до женитьбы о своих прежних отношениях с Еленой Павловной: «Спросил ее <племянницу Сонечку>, что Елена Павловна в мое отсутствие вспоминала обо мне? Она отвечала: „О, как же, беспрерывно“. Но не думаю, чтоб это могло назваться любовью. Вечером я узнал от сестры <Веры Михайловны> и от самой Елены Павловны, что она все время была несчастна. Ее муж ужасен; ему лучше. Он не отпускает ее ни на шаг от себя. Сердится и мучает ее день и ночь, ревнует. Из всех рассказов я вывел заключение: что ей некогда было думать о любви. (Это вполне верно). Я ужасно рад, и это дело можно считать поконченным». В следующем письме, от 2 января 1867 г., Достоевский снова пишет Анне Григорьевне на эту тему: «Елена Павловна приняла все весьма сносно и сказала мне только: „Я очень рада, что летом не поддалась и не сказала вам ничего решительного, иначе я бы погибла“» («Письма», т. I, стр. 451, 454). Когда Ахмакова познакомилась с Сергеем Сокольским, муж ее, как и муж Елены Павловны, имел уже «от невоздержанной жизни удар». В черновиках отношения Ахмаковой с князем Сокольским даны в двух вариантах: в одном — они страстно влюблены друг в друга; в другом — Ахмакова только «кокетничала» с ним, и обещание ее выйти за него замуж после смерти безнадежно больного мужа было лишь шуткой. В окончательном тексте, как известно, принят второй вариант. Подросток говорит, что «раз там, за границей, в одну шутливую минуту, она действительно сказала князю: „может быть“ в будущем, но что же это могло означать кроме лишь легкого слова?» (т. 8, стр. 268). Елена Павловна тоже, очевидно, сказала Достоевскому «может быть».

О характере Елены Павловны мы знаем очень мало. В опубликованных материалах о роде Достоевского (М. В. В о л о ц к о й. Хроника рода Достоевского. М., 1933) не приведена переписка с ней семьи Ивановых, с которой она всю жизнь поддерживала близкие отношения. Но не подлежит сомнению, образ ее мелькает перед Достоевским, когда он рисовал фигуру Ахмаковой. Судя по письмам Достоевского к Ивановым, в частности, к племяннице Софье Александровне, Елена Павловна была добра, проста и естественна, относилась ко всем одинаково ровно (с любовью, но без страсти). Человеку почти незнакомому, брату Анны Григорьевны, она дала 2000 рублей, когда просил об этом Достоевский («Письма», т. II, стр. 340—342). Давала она денег и Паше, сыну Достоевского, поддерживала всегда Ивановых. Когда Достоевский бывал в Москве, то обычно у нее и останавливался.

«Княгиня — довольно мрачный, сильно впечатлительный характер, хотя и с чрезвычайно светлыми проблесками. Светская заносчивость, нестерпимая гордость, английское упрямство и щепетильность (жена Байрона), мелкое самолюбие», — так сказано о будущей Ахмаковой в ранних записях о ней (см. стр. 136). Но тут еще у нее к молодому князю, будущему Сергею Сокольскому, действительно любовь, «какое-то материнское

обожание, так что она прощает ему даже измены». Лично-биографическое, взаимоотношения Достоевского с Еленой Павловной еще не всплыли на поверхность сознания. Чем дальше, тем образ Ахмаковой все более и более смягчается и мало-помалу приобретает ее черты.

«Живая жизнь», — сказано про нее, — простая русская красота, воплощение мягкости и доброты. В черновых набросках в сцене свидания с ней Подростка она говорит ему о своих «скверных пороках». Какие это? — спрашивает он. «Открытость. Желание тотчас победить, привлечь, осчастливить. Как можно? Так женщина не бывает откровенна, как я. Она не должна привлекать без любви. А я — я ведь никого не люблю... Я всех люблю. Я назначена *всех* любить, и, стало быть, *никого*». В романе ей дается такая характеристика: «Катерина Николаевна есть редкий тип светской женщины — тип, которого в этом кругу, может быть, и не бывает. Этот тип простой и прямодушной женщины в высшей степени».

Стр. 268. ...и вдруг княгиня говорит ему, что выходит за Ланского. — Появление в черновой записи только в этот единственный раз фамилии Ланского следует, по всей вероятности, поставить в связь с тем, что во время работы Достоевского над «Подростком» Пушкин был весь в сфере его внимания — не только как великий писатель, как идеал «гармонии», полного согласия между «делом поэта» и «делом художника», но и как человек трагической судьбы в личной жизни. Как будет указано в примечании к записи на стр. 289, Достоевскому казалось, что письмо Версилова к Катерине Николаевне Ахмаковой, в котором он «излил все свое бешенство», можно сравнить с «бешеным» письмом Пушкина к Геккерну, послужившим поводом к дуэли с Дантесом. Всплыла в памяти фамилия того, «другого», за которого вышла Наталия Николаевна Пушкина: Ланского.

Стр. 281. *Современные науки нравственных выводов даже и не начинали еще полагать... не ее это дело Создать же и построить в силах только железные дороги. Тут вовсе не хитрые науки...* — Противопоставление «нравственных выводов» «железным дорогам», т. е., как говорит в одном месте Л. Н. Толстой, прикладным различным знаниям о том, «как наиболее эффективным способом бороться с силами природы и как пользоваться ими для облегчения труда людского», является одной из центральных идей во всем творчестве Достоевского 70-х годов, единой его не столько с мистико-идеалистической системой В. С. Соловьева, сколько с нравственной философией Льва Толстого. В статье «О науке» с подзаголовком «Ответ крестьянину» (Л. Н. Толстой, т. 38, стр. 132—149) Толстой так определяет науку: «Знание того, что нужно делать всякому человеку для того, чтобы как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок жизни, который определен ему богом, судьбой, законами природы, — как хотите; «надо прежде всего знать, что точно хорошо всегда и везде и всем людям, т. е. знать, что должно и чего не должно делать. В этом и только в этом всегда и была и продолжает быть истинная, настоящая наука». Эта «истинная наука», в основе своей, по Толстому, сводится к тому, чтобы «любить бога и ближнего, как говорил Христос. Любить бога; т. е. любить выше всего совершенство добра, и любить ближнего, т. е. любить всякого человека, как любишь себя». Это то самое, что проповедует в «Подростке» крестьянин Макар Долгорукий. Толстой не сочувствует «успехам всех прикладных наук: физики, химии, механики и других», поскольку успехи этих наук «неизбежно только увеличивают власть богатых над поработанными рабочими и усиливают ужасы и злодеяния войн» (там же, стр. 141—142). У Достоевского эта мысль просвечивает лишь очень слабо: одних «железных дорог», т. е. пользы от всякого рода «изобретений», способствующих улучшению материальных условий жизни, мало для человека.

Стр. 287. ...несмотря на то, что дошло до Спинозы. И дальше (на стр. 292): *учил Лизу и мать философии...* — Мыслилась, очевидно, некая сцена, по всей вероятности, не лишенная комизма, когда простой малограмотной крестьянке излагает одну из сложнейших абстрактных философских систем юноша, желающий поскорее ступить свой первый шаг в жизнь, еще «неготовый человек», меньше всего склонный к рассуждениям на «высокие» философские темы. Это дает основания утверждать, что в период создания «Подростка» Спиноза безусловно был в памяти писателя, входил неким элементом своей философии, пусть в окончательном тексте и затухающим, в сферу его мысли. Познакомился Достоевский со Спинозой в изложении Куно Фишера; первые четыре тома его «Истории философии» появились в переводе Н. Н. Страхова. Страхов же опубликовал в сентябрьской книжке «Времени» за 1861 г. (стр. 117—140) статью: «Учение Спинозы о боге», которая должна была особенно привлечь внимание Достоевского, поскольку в ней ясно выражена основа философской системы Спинозы. По ней, бог и природа тождественны. Природа, то, что Спиноза называет субстанцией, есть внутренняя сила, действующая во всем существующем (Natura naturans), а не простая сумма всего существующего (Natura naturata). Взгляд на бога и природу, — по учению Спинозы, — отличается от того взгляда, который обыкновенно защищали современные ему христиане. Он утверждал, что бог есть *внутренняя*, а не внешняя причина всех вещей.

Так отрицается бог (Христос как личность), без чего немислимо христианство как религия. Старый князь Сокольский в старческом своем легкомыслии так пародирует эту пантеистическую философию и одновременно божественную персонификацию в обычном религиозном представлении: «Если высшее существо, — говорит он Версильову, — есть и существует *персонально*, а не в виде разлитого там духа какого-то по творению, в виде жидкости что ли (потому что это еще труднее понять), — то где же он живет?» «Друг мой, — передает старый князь этот разговор Подростку, — *c'était bête* *, без сомнения, но ведь и все возражения на это же сводятся. *Un domicile*** — это важное дело» (т. 8, стр. 42)

Стр. 289. ...то вдруг нахальное, оскорбительное, вне приличий, вне всякой меры письмо к Ахмаковой (Геккерн). — В окончательном тексте записка Версильова (в восьмой главе второй части) оскорбительно гневная, как говорит Подросток, «ужасная, безобразная, нелепая разбойничья записка», в которой он Ахмакову, — этот «образец духовной красоты», «воплощение живой жизни», — называет бесстыдной, из корыстных целей «развращающей юношу, еще несовершеннолетнего, почти мальчика» (т. 8, стр. 351). Здесь же Достоевский припомнил, очевидно, письмо Пушкина к Геккерну перед дуэлью, в котором, по выражению князя Вяземского, «он излил все свое бешенство», «запятнал неизгладимыми поношениями и старика и молодого» (Дантеса). Письмо нужно было лишь как символ нанесения неизгладимой обиды: Геккерн Пушкин называет «сводником», а Дантеса «подлецом и негодяем» (А. С. Пушкин. Полное собр. соч., Изд-во АН СССР, т. 16, 1949, стр. 221 — 222, 407 — 408). О письме Пушкина к Геккерну, написанном в «состоянии бешенства», упоминается и в «Бесах» в связи с оскорбительным письмом молодого Гагадова Ставрогину (т. 7, стр. 247 — 248).

Стр. 290. Вроде какой-то дружбы у подростка с Анной Андреевной (Варя). — Варя указана здесь, должно быть, как прототип сестры Подростка Анны Андреевны, которую Достоевский рисует с первых же моментов ее появления в черновых записках как девушку умную, трезвую в своих помыслах и надеждах, расчетливую. Сестра Достоевского, Варвара Михайловна, 17 лет вышла замуж за человека пожилого, вдовца 44 лет, Петра Андреевича Карепина, правителя канцелярии московского генерал-губернатора. Ей приходилось играть заметную роль в истории с наследством, оставшимся после тетки Куманиной, которая особенно ей доверяла и слушалась ее. Как видим, ситуация, сходная с той, в какой Анна Андреевна находится в отношениях со старым князем Сокольским (о Варваре Михайловне см. М. В. Волоцкий. Хроника рода Достоевского. М., 1933, стр. 158 — 164).

Стр. 293. Арсеньев. — Фамилия эта написана на левом поле, параллельно записи о Стебелькове: «сообщает намеками проект продать Дергачева», т. е. донести политической тайной полиции о долгунищах. Очевидно, в представлении Достоевского шпионаж и предательство ассоциируется с каким-то Арсеньевым, — есть основание думать: с Ильей Александровичем Арсеньевым, журналистом, который одно время сотрудничал в «Северной почте», основанной тогдашним министром внутренних дел П. А. Валуевым. Вскоре затем он выступил в роли журнального предпринимателя и одну за другой основал разные газеты: сатирическую еженедельную газету «Заноза», «Петербургский листок» и «Петербургскую газету». Человек крайне сомнительной нравственности, ничем решительно не брезговавший для удовлетворения своих «чресчур широких потребностей». Происходили у него бесчисленные процессы с сотрудниками, которых он эксплуатировал, а также с создателем, причем выяснялись подлоги в конторских книгах, фантажные подвиги всякого рода. В литературных кругах было известно, что Арсеньев состоял агентом III Отделения. Стебельков, по своим качествам и поступкам, действительно мог иметь своим прототипом Арсеньева (см. его «Воспоминания» в «Историческом вестнике», 1886 — 1887, т. XXV, стр. 191 — 193, 576 — 579; т. XXVI, стр. 513 — 536; т. XXVII, стр. 69 — 81, 345 — 363, 555 — 570; т. XXVIII, стр. 68 — 86; со смертью Арсеньева печатание оборвалось).

Стр. 294. Разговор обо всем (как у Шатова) о божее... Ближайшие записи на этой странице: *Я жил в квартире..., Тут суживал Версильов ..., Я вас ждал..., спасибо...* И последующие: *Перешел на хозяйку..., Хозяин. Я вышел его провожать.* — свидетельствуют о том, что разговор о божее должен был произойти во второй главке первой главы части второй. В окончательном тексте эта тема затронута лишь мельком в главке четвертой в виде легкой болтовни с оттенком насмешки над Подростком, пристававшим к Версильову с вопросами о смысле жизни: «в чем великая мысль», которая может захватить? «Чем в данный миг я всего больше могу быть полезен?» И главное — «что мне делать в этом смысле» — в смысле религиозном? И он, Версильов, «отвечал самым глупым образом, как маленькому: „Надо веровать в бога, мой милый“» (т. 8, стр. 235, 237).

* это было глупо (франц.).

** Место жительства (франц.).

Ситуация во время этого разговора на такие глубоко ответственные по своему идейному определяющему смыслу темы, как и характер и положение беседующих, хоть отдаленно, но действительно напоминают разговор Шатова с Ставрогиним в главе «Ночь» второй части романа «Бесы» (т. 7, стр. 261—272). «Разговор обо всем» — о самом главном, что составляет в романе «Подросток» такую же кульминацию идеологическую, какой является разговор Шатова о боге в «Бесах», происходит в главе первой второй части романа (главки шестая и седьмая). Причем при сопоставлении обоих «разговоров» ясной становится та эволюция, которая совершилась в воззрениях Достоевского в этот короткий промежуток между обоими романами (1872—1875). В «Бесах» в диалоге Шатова с Ставрогиним главная роль принадлежит Шатову, проповедующему славянофильские идеи автора. «Знаете ли вы, — начал он почти грозно <...>, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх пред собою, — знаете ли, кто теперь на всей земле единственный народ „богоносец“, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога и кому единому даны ключи жизни и нового слова... Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?» (т. 7, стр. 261—262). С этой церковно-религиозной точки зрения и оценивается вся история европейского человечества. Достоевский устами Шатова изменяет здесь свою давнишнюю формулировку символа веры. В письме к Фонвизинной, жене декабриста Фонвизина, женщине, чрезвычайно религиозной, Достоевский, только что выпущенный из каторжной тюрьмы (февраль 1854 г.), говорит о своей жажде веры: «Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другим люблюм, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» («Письма», т. I, стр. 142). Шатов, почти точно цитируя эти слова Достоевского, вносит как будто только некий тончайший оттенок, на деле же скрывается совершенно новая мысль. Он напоминает Ставрогину его слова, с которыми в высшей степени согласен: «Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?». Доказали бы «математически» — математика самая точная наука, в ней полнее всего и проявляется сила человеческого разума. Но ни один народ, по мысли Достоевского, еще не устраивался на началах науки и разума. Истина вне Христа — тем хуже для истины, для науки. В «Подростке» такого противопоставления нет. Мистическая сторона христианства совершенно отсутствует. Социализм, осуществление его идеалов отнюдь не противопоставляется Христу, как и не противопоставляется западноевропейский мир русскому народу с точки зрения церковно-религиозной.

Стр. 310. *Подросток... думает о Lacenaire.* — В журнале «Время», 1861, № 2, была напечатана статья «Процесс Ласенера» со следующим примечанием редакции: «Мы думаем угодить читателям, если от времени до времени будем помещать у себя знаменитые уголовные процессы. Не говоря уже о том, что они занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимоходом, в виде эпизода, — не говоря уже об этом, чтение таких процессов, нам кажется, будет не бесполезно для русских читателей <...>»

В предлагаемом процессе дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие инстинкты и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века. И все это при безграничном тщеславии. Это тип тщеславия, доведенного до последней степени» («Время», 1861, № 2, стр. 1). Пьер Франсуа Ласенер был одним из тринадцати детей почтенного купца в Лионе, составившего себе состояние торговлей железом. Но большая семья требовала больших расходов, купец пустился на предприятия отчаянные, которые и довели его до разорения. Молодой Ласенер мечтал посвятить себя изучению права, поехал в Париж, где быстро создаются карьеры, но... пришлось поступить в купеческую контору. Он пытал счастья в военной службе, записался в полк, участвовал в греческой войне 1829 г., затем получил отставку. Вернувшись в Лион, не застал своего семейства, получил небольшую сумму, оставленную для него матерью, и снова бросился в Париж. Убил на дуэли племянника Бенжамена Констана. «Зрелище его <Констанса. — А. Д.> агонии, говорил он впоследствии <...> несколько меня не тронуло... Надо полагать, уж таково свойство моей организации — особенная бесчувственность». Затем, чтобы достать деньги, не работая, Ласенер принялся за мошенничество, был приговорен к тюремному заключению на один год. По освобождении вздумал заняться литературой. Но литературная деятельность не удовлетворяла Ласенера, скоро он опять вошел в дружбу с тюремными товарищами, занимался под-

логами. В 1833 г. Ласенер был приговорен к 13-месячному тюремному заключению за воровство. В тюрьме он обдумывал планы на будущее и заключил, что воровство и подлоги обходятся иногда очень дорого, а приносят мало—кровавые замыслы сложились в его голове. Вскоре он их осуществил. Найдя себе сообщника, Ласенер совершил убийство Шардона и его матери, заранее распределив обязанности. После убийства отправились в кафе, где собирались вора и другие преступники. Убийство Шардона не было целью, а только средством. Преступление, совершенное из таких ничтожных видов, упреждало в глазах Ласенера успех более широких замыслов.

В тюрьме держал себя спокойно. «Будучи в La Force, Ласенер держал при себе котенка; животное как-то сделало маленькую неприятность на его постели; он так ударил его об землю, что бедная тварь тут же и издохла». «Я смотрел, говорил он, на агонию животного с участием и состраданием, какого никогда мне не внушали мои жертвы. Вид трупа, агонии обыкновенно не производит на меня никакого впечатления. *Убить человека для меня то же, что выпить стакан вина*».

Один из посетителей приемной залы тюрьмы как-то заговорил с Ласенером о его злодействе и об ожидающей его каре.

«—Ласенер, вы человек незауряд, вы наделены, к несчастью, огромными умственными способностями. Каким образом собственный ваш рассудок не протестовал против пагубных побуждений?

— В жизни моей был случай, в котором не было для меня другого исхода, кроме самоубийства или преступления.

— Отчего ж вы не наложили на себя руки?

— Я задал себе тогда вопрос: жертва ли я самого себя или жертва общества? *И пришел к убеждению, что я жертва общества.* (<...>)

— Но если бы и действительно вы были жертвой общества, отчего же вы направляли свои удары только на невинных?

— Это правда, и мне жаль тех, которых я убил, но они были обречены гибели, потому что я решился идти противу всех.

— И так вы составили систему поголовного убийства?

— Да, я избрал ее как средство самосохранения и упечения собственного существования(<...>)

— Вы все это делали равнодушно, как бы устраивали коммерческую сделку?

— Да.<...>

— Так вас никогда не мучили угрызения совести?

— Никогда.

— Никогда боязнь не забиралась к вам в душу?

— Нет. Я знал, что голова моя идет ставкой в этой игре».

На суде вел себя спокойно, с большим самообладанием, в день открытия суда сложил песенку. Произнес речь, после которой толпа молодых адвокатов поздравляла его как своего коллегу, дебютировавшего блестящим образом.

Ласенер вышел из зала заседаний довольный. Он покушал с аппетитом и весело говорил о деле, о себе и своей жизни: «Мне жизнь так же дорога, как монетка в 5 су» (там же, стр. 13,20—21, 38, 47).

Последние слова Ласенера: «Гюго написал прекрасную книгу: „Последний день приговоренного к смерти“, но если б дали мне срок, я бы перещеголял его».

Стр. 322. *Помнишь стих Лермонтова: «Но в мире лучшим друг друга они не узнали».*— Последняя строка из стихотворения, являющегося вольным переводом стихотворения Гейне «Sie liebten sich beide», начало которого приведено Лермонтовым в качестве эпиграфа. Достоевский цитирует не совсем точно — у Лермонтова: «Но в мире новом друг друга они не узнали» (см., например, М. Ю. Лермонтов. Соч. в шести томах, М.—Л., Изд-во АН СССР, т. II, 1954, стр. 201, 361).

Стр. 324. *Анна Андреевна умела ладить и с Фанариотовой и не как воспитанница у Пушкина в «Пиковой даме».*— Гордой, независимой, с ярко выраженным чувством собственного достоинства представлена Анна Андреевна и в окончательном тексте, в полную противоположность воспитаннице из «Пиковой дамы» Пушкина, Елизавете Ивановне, которую Пушкин характеризует как «пренесчастное создание». Достоевский, очевидно, ориентировался при создании «Подростка» не только на «Скупого рыцаря», но и на эту пушкинскую повесть, когда в ходе развития сюжета возникла необходимость сопоставить по характеру, судьбе и отношению к людям «девицу из родового семейства», по матери Фанариотову, с сестрой, не родной, по матери крестьянкой, которой Достоевский и дает как раз черты воспитанницы «Пиковой дамы» и ее же имя: «Лиза». Они обе несчастны, возникает, по отдаленной ассоциации, образ героини повести Карамзина — в одном месте Достоевский и называет ее, эту вторую родную сестру Подростка, «бедной Лизой».

Стр. 343. *Недоконченные люди (вследствие Петровск(ой) реформы вообще) вроде инженера в «Бесах».*— Имеется в виду инженер Кириллов, вначале тоже входящий, как и Шатов, в «пятерку», группу революционеров, руководимую Петром Степанови-

ОБЛОЖКА
ИТАЛЬЯНСКОГО ИЗДАНИЯ
РОМАНА «ПОДРОСТОК»

(Турин <?, 1960)

Fjodor Dostojevskij

IL GIOCATORE

Prefazione di Leone Ginzburg

Traduzione di Bruno del Re

GIULIO EINAUDI EDITORE 1960

чем Верховенским. Их обоих волнуют в сущности одни и те же вопросы общественно-политического характера, которые они ставят и решают с точки зрения религиозно-философской и в связи с ходом развития всей истории человечества. Сходят вполне их жизненный путь, как и идеи нравственного порядка, которыми они руководствуются в своей деятельности и в отношении к людям. И в то же время они друг другу резко противостоят в мыслях в самом существенном для них вопросе — о боге. Шатов (см. комментарий к стр. 294) хотя еще и «зайца не поймал», но страстно хочет верить, что его поймает («Я... я буду веровать в бога») (т. 7, стр. 268) и восторженно проповедует о великой исторической миссии русского народа, единственного, «богоносца», грядущего обновить и спасти мир истиной нового бога и кому одному даны ключи жизни и нового слова. С этой точки зрения Кириллов именно «недоконченный» человек, он уже не русский, поскольку он не только не православный, но в полном смысле слова атеист. Подчеркивается с самого начала, что Кириллов говорит «как-то не грамматически», как-то странно переставляет слова и путается. Он сам говорит о том, что «не знает русского народа» и вовсе нет времени изучать. То, что его интересуют не вопросы социального благоустройства, не улучшения условий жизни народа, а причины, участвующие или задерживающие распространение самоубийств в обществе, приобретает особый символический смысл. Отречение от бога, — по мысли Достоевского, — неминуемо должно привести к смерти, к самоубийству, если человек не принадлежит к категории людей посредственных, довольствующихся личным благополучием. Достоевский дает Кириллову большую силу самостоятельной мысли по волнующим вопросам о смысле жизни, о причинах возникновения идеи бога, о вечности, об основах нравственности, словом, обо всем том, на что, по Достоевскому, человеку верующему отвечает религия. Но Кириллов мыслит иначе. И как бы ни были величественны идеи, они ведут к трагическому финалу, к самоубийству. Кириллов — высшая разновидность «человека из подполья». Для него все одинаково: добро и зло. Нет никаких объективных критериев добра и зла, восходящих к каким-то незыблемым истинам. Все в мире субъективно. «Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой!» (т. 7, стр. 251—252). Кириллов — эпикуреец, и все мысли, какие он высказывает, имеют напряженно-истерический характер, на грани умопомешательства.

Стр. 344. *Озябла. Девочка. Девочка (озябла). Необходима ему во всем романе как убежище от Версилова, Ламберта, недоверия Лизы, безучастия матери. Он к ней удаляется. Девочка умирает перед самым замыслом — решением на Азмакову, забывая. Эта смерть приводит подростка в отчаяние.* — Как видно, история с какой-то озябшей девочкой, которую Подросток спасает от смерти, должна была служить символом высокой нравственной основы его души. Так находит он убежище от всех своих невзгод, искушений и обид. Чтобы мог возникнуть у него преступный замысел против Ахмаковой, девочка, его нравственная опора, должна умереть. И то же на стр. 346: *Девочка. ...Все перед ним виноваты (<...>), и у него одна эта девочка... Девочка озябла. Умирает, говорит: «Ничего!»* Все эти записи ведут к эпизоду о девочке в снегу, который Достоевский хотел было поместить в первой главе девятой главы второй части романа после взволнованного рассказа о том, как Подросток, ужасно оскорбленный в игорном доме у Зерщикова обвинением в воровстве, бежит по городу в бреду, одинаково готовый на самоубийство и на самое дикое преступление, забегает в какой-то пустынный переулок и видит за высокой стеной огромный склад дров. «Никого нет, тишина!» Влезть на стену, содрать с березового полена бересту, зажечь и пропихнуть в дрова — вот и пожар. Дальше Подросток говорит, что «совсем решился. Я ощутил чрезвычайное удовольствие, наслаждение, и полез». Вот здесь-то и должен был следовать эпизод, начиная со слов: «Зажечь, зажечь, непременно, пусть горят!». Он бы это исполнил, но был отвлечен неожиданной встречей с замерзающим ребенком, девочкой лет девяти или десяти. «Она была очень дурно и мало одета», на нее длинное суровое полотенце, к каждому концу пришиты корзинки вроде футляра для бутылки. Из каждой корзинки действительно торчало по бутылке. Девочку, очевидно, послали за чем-то с бутылками, и она почему-то боялась вернуться домой, чтобы ее не истязали; вспоминаются отдаленно страдания Козетты из «Отверженных» Гюго (о романе Гюго см. на стр. 424). Подросток помогает девочке, по имени Ариша, точно так же, как Вальжан Козетте. Он приводит ее домой, в его же присутствии ее мучают, а он над ней плачет. Его выгоняют, и он в отчаянии бежит опять в тот самый переулок, там он «будет сидеть и заснет и замерзнет» (см. журнал «Начала», Пг., 1922, № 2, стр. 221—225. Публикация В. Л. Комаровича). Судя по приведенным здесь записям, в замысел Достоевского входило продолжить эпизод с Аришей, осложняя его частыми встречами с ней Подростка, его трогательной заботой о ней, подобно той, какую он проявляет в окончательном тексте о Риночке (конец пятой главы первой части). Этого не случилось. Хотя эпизод остался в рукописи не зачеркнутым, Достоевский тут же записал окончательную редакцию этого места романа, со слов: «Я лаять умею отлично»... до конца этой главки: «Я с наслаждением стал к нему прислушиваться» (т. 8, стр. 366—367).

Стр. 350. *David — Salomon, у меня все это кружится.* — Смысл этой записи о старом князе Сокольском поясняет предшествующая запись об Анне Андреевне: запись последующая о ней же. Высокому поэтическому восторгу, какой он переживает после того, как величественно-гордая Анна Андреевна сказала ему о своей любви, старый князь находит соответствие (у него все это «кружится»). — старый князь выражает Подростку свой восторг по-французски: «Quelle charmante personne, a? Les chants de Solomon». И дальше о Поль де Коке. О нем в добродушном комическом стиле Достоевский говорит неоднократно во многих своих произведениях, начиная с «Бедных людей» и кончая «Братьями Карамазовыми». В «Бедных людях» Макар Девушкин, человек «начитанный, из компании Ратазяева», который «сам пишет, ух, как пишет! Перо такое бойкое и слогу пропасть», — пишет своей корреспондентке Вареньке Доброжеловой, что «ходит здесь по рукам Поль де Кока одно сочинение, только Поль де Кока-то вам, маточка, и не будет... Ни-ни!» (т. 1, стр. 130—134). Про героиню рассказа «Чужая жена и муж под кроватью» сказано: «Эта хитрая молодая дама (вечно Поль де Кок под подушкой!»).

Фому Опискина, которого так почитают обитатели села Степанчиково, не один раз заставляли за Поль де Коком, при людях он прятал его куда-нибудь подальше (т. 2, стр. 586). То же и о Степане Трофимовиче Верховенском, ученом с поэтической душой: «Возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока» (т. 7, стр. 586). Вечный его друг, Ставрогина, так и попрекает его: «Вы читаете одного только Поль де Кока» (т. 7, стр. 21). В «Идиоте» юная, милая, по-детски капризная Агния говорит князю Мышкину: «Я еще два года назад нарочно два романа Поль де Кока прочла, чтобы про все узнать. Мамап, как услышала, чуть в обморок не упала» (т. 6, стр. 489). В «Введении» к «Ряду статей о русской литературе», в начале 1861 г. Достоевский не без иронии рассказывает «нашу собственную повесть, повесть нашего развития, нашего роста», когда во все образованное сословие наше вдруг стал проникать анализ: «Поль де Кока мы еще тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию. Мы набросились на одного Жорж Занда и — боже, как мы тогда зачитались!» (т. XIII, стр. 49). Так повелось с натуральной школы в эпоху 40-х годов; отвергая Дюма и всех других романистов его круга, преклоняясь перед Жорж Зандом за проповедь ею высоких гуманистических идеалов, Поль де Кока все же читали, согласно характеристике Белинского, как «доброе, почтенное, талантливое писателя, живо, остроумно и верно изображавшего действительность». Поль де Кок, — говорит

Белинский, — на французском языке «всегда забавен, мил, даже грациозен в самых пошлостях, а на русском частенько тяжеловат, плосковат и даже грязноват» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XIII. М., 1959, стр. 186). Достоевский не раз говорил, что Поль де Кока можно читать только по-французски, что наши российские перелататели нещадно уродуют Поль де Кока, стирая с его рассказа колорит добродушия и грациозности, и заставляют русских читателей видеть в нем одни сальности и плоскости, грубые картины цинизма». Высказывания о Поль де Коке Достоевского, как видим, совпадают, по тону во всяком случае, с рецензиями о нем Белинского.

Стр. 354. *Сельское кладбище*. — Имеется в виду, по всей вероятности, переведенная Жуковским элегия английского поэта Томаса Грея «Сельское кладбище». У Жуковского она кончается следующим четверостишием:

Прохожий, помолись над этою могилой;
Он в ней нашел приют от всех земных тревог;
Здесь все оставил он, что в нем греховно было,
С надеждою, что жив его спаситель — бог.

Стр. 354. *Смотри Ст. после Петербурга. 25 февраля. (XIX Век и современный человек)*. — Смысл этой записи, очевидно, таков: смотри страницу с записями, сделанными по возвращении из Петербурга, 25 февраля. Как видно из переписки с женою, Достоевский приехал из Старой Руссы в Петербург 5 февраля 1875 г. и вернулся домой числа 18 февраля (см. «Письма», т. III, стр. 147, 159).

«*Век и современный человек*» — надо полагать, цитата из строфы XXII главы седьмой «Евгения Онегина» Пушкина. Версиков часто рисовался Достоевскому вплоть до окончательного текста с чертами Онегина.

Стр. 355. *...признается Макару, что беременна. Тот, вроде прощенной женщины во храме, кротко и боязливо*. — В восьмой главе Евангелия от Иоанна сказание о том, как книжники и фарисеи привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии, с тем, чтобы ее наказать по закону Моисея, заповедавшего побивать камнями таких женщин. Иисус же сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Когда они это услышали, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим; и остался один Иисус и женщина. Иисус сказал ей: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Судя по этой записи, странник Макар должен был так же поступить с Лизой, забеременевшей от молодого князя Сокольского. В окончательном тексте такой сцены нет.

Стр. 356. *Новых идей нет: идеи все те же одни, начиная с Иова. Прудон и Иов — искушение Христа*. — О книге Иова Достоевский пишет в письме к жене от 10/22 июня 1875 г.: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача, и если б только не подлейшие примечания переводчика, то, может быть, я был бы счастлив. Эта книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!» («Письма», т. III, стр. 177). В шестой книге «Братьев Карамазовых» устами старца Зосимы Достоевский подробно рассказывает о том огромном, оставившем след на всю его жизнь впечатлении, которое произвел на него отрок, читавший в понедельник на страстной неделе книгу Иова: «Вышел на средину храма отрок с большою книгой, такую большую, что, показавшись мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налож, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что во храме божием читают. Был муж в земле Уц, правдивый и благочестивый, и было у него столько-то богатства, столько-то верблюдов, столько овец и ослон, и дети его вселились, и любил он их очень и молил за них бога: может, согрешили они, веселясь. И вот восходит к богу диавол вместе с сынами божьими и говорит господу, что прошел по всей земле и под землею. „А видел ли раба моего Иова?“ — спрашивает его бог. И похвалился бог диаволу, указав на великого святого раба своего. И усмехнулся диавол на слова божии: „Предай его мне и увидишь, что возропщет раб твой и проклянет твое имя“. И предал бог своего праведника, столь им любимого, диаволу, и поразил диавол детей его, и скот его, и разметал богатство его, все вдруг, как божьим громом, и разодрал Иов одежды свои и бросился на землю, и возопил: „Наг вышел из чрева матери, наг и возвращаюсь в землю, бог дал, бог и взял. Буди имя господне благословенно отныне и до века!“» (т. 9, стр. 364—365). Достоевский пишет дальше, что бог, как бы в награду за веру и покорность, дает Иову вновь богатство, проходит опять многие годы, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их. «„Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде с новыми, как бы новые ни были ему милы?“ Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость». Достоевский, точно намеренно, прячет от читателя центральную, главную часть книги, где Иов совсем не покорен, а вопиет против бога: зачем подверг его таким страшным мучкам? Иов не постигает смысла, ради чего бог предал его сатане. Пятая книга романа «Прог и contra» вскрывает всю трагичес-

кую сущность человеческой жизни на земле так, как ее воспринимал Достоевский. Так последние слова записи: «Искушение Христа» нужно отнести не только к идеям Прудона — к идеям социализма (см. комментарий к стр. 59), но и к Иову: «Зачем ты меня оставил?» — горестное восклицание Христа-человека, каким мыслили его утопические социалисты.

Прудон и Иов. — Не совсем ясно, почему «все те же идеи», что «искушение дьявола», т. е. идеи социализма, связаны на этот раз с Прудоном, имя которого среди властителей умов революционно настроенной молодежи еще с 40-х годов появляется у Достоевского обычно последним, после Жорж Занд (она впереди всех), после Фурье, Кабе и т. д. Может быть, следует объяснить это тем, что именно Прудон, его идеи стали наиболее популярными в России в 70-е годы, особенно в первую половину, когда часть народнически настроенной молодежи склонилась к анархическим взглядам Бакунина. В это же время в русской литературе появились две работы о Прудоне: одна А. Н. Плещеева — непосредственно перед тем, как был задуман «Подросток»: «Жизнь и переписка Прудона» («Отечественные записки», 1873, ноябрь); вторая — цикл статей Д—ева (П. Д. Боборыкина) «П. Ж. Прудон в письмах» («Вестник Европы», 1875, кн. 3, 7—12). Тогда же появилась новая книга и на французском языке, на котором Достоевский обычно знакомился не только с французской, но с мировой литературой: *Sainte Beuve. P. J. Proudhon — sa vie et sa correspondance. 1838 — 1848. Paris, 1872.*

Стр. 367. *Внезапное объяснение читателю себя самого (для ясности à la Лев Толстой).* И дальше: *Я полагаю, что я просто был в нее влюблен без памяти... (как на бале в углу) Ревновал.* — В окончательном тексте имеется этому соответствие в третьей части, там, где Подросток считает необходимым сказать всю правду: как это он мог вступить в сговор с Ламбертом, чтобы опозорить Ахмакову. Пусть же знают: «В записках моих это должно быть отмечено. (...) Не для того, чтобы спасти безумного Версилова и возвратить его маме, а для того ... что, может быть, сам был влюблен в нее, влюблен и ревновал! (...) Ко всем тем, на которых она на бале будет смотреть и с которыми будет говорить, тогда как я буду стоять в углу...» (т. 8, стр. 577). Слова: «à la Лев Толстой» наводят на мысль о том, что Достоевский вначале, очевидно, предполагал дать более подробное и углубленное объяснение Подростком своего душевного состояния, приведшего его к сговору с Ламбертом. В пятой главе второй главы первого выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. (под заглавием: «Именинник») Достоевский подробно останавливается на одном из шедевров Толстого. Это рассказ в «Детстве и отрочестве» о том, как двенадцатилетний мальчик страстно отдается мечтам и чувствам своим, а стыдливые целомудрие и высшая гордость мешают ему обнаруживать их. Он видит себя униженным, его никто не любит; ему хочется отличиться, — на языке Подростка это было бы: «устроить пожар». И он устраивает его, ударяет кулаком гувернера, его запирают в чулан, ему грозит наказание розгами. Ему хочется умереть, над ним будут плакать, его жалеть. Все кончается болезнью ребенка, лихорадкой, бредом. Это, — говорит Достоевский, — «чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный» (т. XII, стр. 33—34). Так приблизительно построена и девятая глава второй части в романе «Подросток»; с тем же финалом: «болезнью, лихорадкой, бредом».

Стр. 367. *А то, что в тех юношах, что облакатишки или инженеры с дистанции (Александр Александрович).* — Имеется в виду племянник Достоевского, сын сестры Веры Михайловны, по мужу Ивановой. Он учился вначале в Московском университете, оставил его и занялся, по выражению Достоевского, в одном из писем к С. А. Ивановой, «таким неблагодарным делом, как инженерство путей сообщения» («Письма», т. II, стр. 178). Этот Александр Александрович служил в Кременчуге в управлении Харьковско-Николаевской железной дороги, дослужился до большой пенсии, был трижды женат, постоянно мечтал стать хозяином на своей ферме. «Все мы Ивановы большие эгоисты и при этом гордецы!» — так он сам однажды охарактеризовал себя (М. В. В о л о ц к о й. Хроника рода Достоевского, стр. 202—204).

Стр. 404 «*Dies irae, dies illa...*» — Имеются в виду финальные сцены из первой части трагедии Гете «Фауст». Для Достоевского, как и для Герцена, Гете — великий поэт, мыслитель, но не трагик: он слишком «олимпиаец», слишком равнодушен к судьбам человеческим. Достоевский берет из финала первой части «Фауста» только два момента и ими кончает: молитву Гретхен, которую Достоевский переносит из тюрьмы в собор, и слова Мефистофеля: «Она осуждена на муки!» Причем дважды подчеркивает свое несогласие с Гете. У Гете молитва Гретхен — вначале, а потом слова Мефистофеля.

У Достоевского в окончательном тексте злой дух теряет облик Мефистофеля, циника, всегда только издевающегося над своей жертвой: это внутренний голос самой Гретхен, голос терзающей ее совести: «это — тенор, непременно тенор» — следует ремарка Достоевского. И «начинает он тихо, нежно», — с светлых воспоминаний об ее невинном детстве; и в нотах его «слезы, тоска, безустанная, безвыходная и, наконец, отчаяние. „Нет прощения, Гретхен, нет здесь тебе прощения“» (т. 8, стр. 482).

Песня Сатаны, внутреннего голоса, вдруг обрывается почти криком: «Конец всему, проклята!» «И вот тут ее молитва» — тут, а не раньше, не до проклятия. И всего «только четыре стиха», а не пять, как у Гете, где последняя строка: «Ты, Генрих, страх внушаешь мне», нарушает весь характер ее молитвы, «наивной, безо всякой отделки, в высшей степени средневековой». С Гретхен обморок после молитвы, а не как у Гете, в двадцатой сцене после хора. У Гете она падает в обморок со словами: «Соседка! Вапшу склян-ку!»... У Достоевского — никаких слов: «Смятение. Ее поднимают, несут». И тут торжественный финал: «Хор вдохновенный, победоносный, подавляющий <...> восторженный, ликующий всеобщий возглас: „Hossanna!“ — Как бы крик всей вселенной» (т. 8, стр. 482—483). У Гете же один только холодный намек: «Голос свыше: „Спасена“».

Стр. 405. *Христос на Белом море*. — В окончательном тексте прямо указано: видение, «как у Гейне, „Христа на Балтийском море“». Название неточное. У Гейне стихотворение названо «Frieden» («Покой») и входит в цикл его «Книги песен» («Das Buch der Lieder»), озаглавленный «Nordsee» (Северное, а не Балтийское море). Гейне рисует фантастическую картину, как Христос вновь появляется к людям, полный любви и сострадания, и сияние, исходящее от него, совершает чудо: человек перерождается, снова становится совершенным. Следует сказать между прочим: не подлежит сомнению, что в этом своем виде — как волшебный сон, как фантазия — «Видение» должно занять свое место среди источников «Легенды о великом инквизиторе» (в «Братях Карамазовых»). Может быть, именно сюда-то и восходит первоначальный замысел легенды, в особенности, если принять во внимание тот смысл, который придается этому вторичному появлению Христа Версильовым в его мечте о финале человеческой истории, о «Золотом веке».

Стр. 410. *Клод Лоррен*. — В окончательном тексте (т. 8, стр. 513): «В Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лоррена, по каталогу — „Асис и Галатея“; я же называл ее всегда „Золотым веком“, сам не знаю почему». Клод Лоррен (1600—1682) — знаменитый французский художник-пейзажист (настоящая фамилия — Желле). Лоррен использовал для своей картины сюжет XIII книги «Метаморфоз» Овидия, в которой рассказывается о любви прекрасной Галатеи к юноше Асису и об одноглазом Циклопе, влюбленном в Галатею и преследовавшем ее. У Лоррена запечатлен следующий момент текста Овидия:

С клинообразной верхушкой холм поднимался средь моря,
Так, что его отовсюду вода окружала. Забравшись
На середину холма, безобразный Циклоп там уселся<...>
Мы укрывались в пещере, где Асис держал меня
Крепко в нежных объятиях...

«Превращения» Публия Овидия Назона, перевод с латинского Ф. Матвеева, кн. IX—XV. М., 1876, стр. 163.

Пейзаж по композиции делится на две части: одна, освещенная косыми лучами заходящего солнца, — в ней зелень и море, сливающиеся вдаль с небом; другая освещена только сверху, где открыт небольшой кусочек неба, большую часть ее занимает темная гора и темное от ее тени море. Шалаш Асиса и Галатеи — в центре композиции. Лучи солнца уже почти не попадают на него и лишь слегка скользят по белой фигуре Галатеи. Наверху, на холме, точно сливающаяся с его темным фоном, фигура Циклопа. Маленькие амурчики у шалаша и греющиеся на закате наяды наполняют панораму настроением любви и радости.

В окончательном тексте Достоевский интерпретирует картину Клода Лоррена гораздо шире ее настоящего сюжета и смысла. Счастье и любовь последнего свидания Асиса и Галатеи символизируют у него «золотой век» человечества.

Стр. 422. *Соломон — все пройдет*. — Имеются в виду изречения в книге Ветхого завета «Экклезиаст», приписываемые царю Соломону, сыну царя Давида. Это — книга, крайне пессимистическая, созданная человеком, который испытал все удовольствия жизни, до дна испил чашу земных радостей, остался неудовлетворенным и с грустью восклицает: «Суета сует», «все—суета и томление духа!». «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». «Мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и—увы! — мудрый умирает наравне с глупым». «Все идет в одно место; все произошло из праха и все возвратится в прах»...

Стр. 424. «*Misérables*». — В окончательном тексте (см. т. 8, стр. 524) Версильов говорит Подростку, что «у великих художников в их поэмах бывают иногда такие *больные* сцены, которые всю жизнь потом с болью припоминаются, — например <...> встреча беглого каторжника с ребенком, с девочкой в холодную ночь, у колодца, в „*Misérables*“ Виктора Гюго; это раз пронзает сердце, и потом навеки остается рана». К Гюго, в частности к «*Misérables*», Достоевский относился с особенной любовью. В одном из своих писем за 1876 г. он отмечает, что «они „Отверженные“. — А. Д.» вышли в то время, когда вышло мое «Преступление и наказание» <...> Покойник Ф. И. Тютчев, наш ве-

ликий поэт, и многие тогда находили, что Преступление и наказание" несравненно выше „Misérables". Но я спорил со всеми и доказывал всем, что „Les Misérables" выше моей поэмы, и спорил искренно, от всего сердца, в чем уверен и теперь, вопреки общему мнению всех наших знатоков <...> Прелестна фигура Вальжана, и ужасно много характернейших и превосходных мест <...> Там, где у него эти падшие люди истинны, там везде со стороны Виктора Гюго человечность, любовь, великодушие» («Письма», т. III, стр. 264). Именно в этой сцене встречи беглого каторжника с ребенком, в холодную зимнюю ночь, у колодца, Гюго с особой силой передает страдания загнанной восьмилетней девочки совершенно на манер Достоевского (ср. в первом романе Достоевского «Бедные люди» сцену с бедной девочкой у гроба своего брата, Горшкова) — не жестами отчаяния, не истерическими рыданиями, а тихими сдавленными стонами, невольно вырывающимися из ее израненного сердца.

Сцена в холодную ночь у колодца — одна из тех, ради которых Иван Карамазов готов «уменьшить размеры своей аргументации раз в десять», остановиться на страданиях одних детей, чтобы не дать «уму-подлецу влиять и прятаться», когда дело доходит до отчаяния в горестных размышлениях человека над трагедией мировой истории.

Стр. 424. *Лицо в размерах матушки игуменьи Митрофании.* — Игуменья Митрофания, — до ухода в монахини — баронесса Прасковья Григорьевна Розен, — была обвинена судом в подделке векселей на сумму 22 000 руб. и в подлоге завещания. Описание этого шумного процесса имеется в «Воспоминаниях» А. Ф. Кони, который дает Митрофании следующую характеристику: «Это была женщина обширного ума, чисто мужского и делового склада, во многих отношениях шедшего вразрез с традиционными и рутинными взглядами, господствовавшими в той среде, в узких рамках которой ей приходилось вращаться» (А. Ф. Кони. Избранные произведения. М., 1956, стр. 866).

В «Гражданине» № 43, от 28 октября 1874 г., дается портрет игуменьи: «У нее лицо умное, энергическое, ясное и спокойное: она садится на кресло и как будто готовится слушать о ком-то интересный процесс».

Ниже даны указания на архивные источники соответственно страницам настоящего тома (страницы тома «Литературного наследства» выделены курсивом).

Как уже было сказано выше, большая часть рукописных материалов к роману «Подросток» содержится в трех записных тетрадах в ЦГАЛИ: № 8 (ф. 212, оп. 1, ед. хр. 11), № 9 (там же, ед. хр. 12), № 10 (там же, ед. хр. 13). В тетради № 8 имеется архивная нумерация листов, в тетрадах № 9 и № 10 — страничная.

Остальные творческие записи находятся на разрозненных листах, хранящихся в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ф. 93. I. I. 8/1 и т. д.) и в Отделе рукописей ИРЛИ.

В дальнейшем, для краткости, материалы ЦГАЛИ обозначаются только единицей хранения и номером листа (или страницы), материалы же Библиотеки им. Ленина — указанием места хранения и единицы (например, ЛБ, 8/4).

Стр. 59—83 — ед. хр. 12, стр. 9—42, 196; стр. 83—85 — ед. хр. 12, стр. 43—45; стр. 85—87 — ед. хр. 13, стр. 60—63; стр. 88 — ед. хр. 12, стр. 50—51; стр. 89 — ед. хр. 12, стр. 51, 46—47; стр. 90 — ед. хр. 12, стр. 47—49; стр. 91 — ед. хр. 12, стр. 49, 52; стр. 92—117 — ед. хр. 12, стр. 52—91; стр. 117—125 — ед. хр. 13, стр. 39—47; стр. 125—128 — ед. хр. 13, стр. 54—55; стр. 128—129 — ед. хр. 13, стр. 57—58; стр. 129—150 — ед. хр. 12, стр. 93—127; стр. 150—155 — ед. хр. 13, стр. 30—38; стр. 155—158 — ед. хр. 13, стр. 26—29; стр. 158—169 — ед. хр. 12, стр. 128—141; стр. 169—177 — ед. хр. 12, стр. 155—164; стр. 177 — ед. хр. 12, стр. 169—171; стр. 178 — ед. хр. 12, стр. 170, 172; стр. 178 — 181 — ед. хр. 12, стр. 166—168; стр. 181 — 191 — ед. хр. 12, стр. 173—187; стр. 191—192 — ед. хр. 13, стр. 25; стр. 192—194 — ед. хр. 13, стр. 23—24; стр. 194—196 — ед. хр. 13, стр. 21—22; стр. 196—203 — ед. хр. 13, стр. 11—20 (записи расположены в обратном порядке); стр. 203—204 — ед. хр. 13, стр. 8—9; стр. 204—206 — ед. хр. 13, стр. 9—11 (в обратном порядке); стр. 206—208 — ед. хр. 13, стр. 4—7 (в обратном порядке); стр. 208—210 — ед. хр. 11, лл. 15—17 об.; стр. 210—212 — ед. хр. 13, стр. 3, 1—2; стр. 213—217 — ед. хр. 12, стр. 188—192; стр. 217 — ед. хр. 12, стр. 204; стр. 218—219 — ед. хр. 12, стр. 203, 202; стр. 219—221 — ед. хр. 12, стр. 198, 197; стр. 221—223 — ед. хр. 13, стр. 59, 64—66; стр. 224—232 — ед. хр. 11, лл. 97—102 об.; стр. 232—233 — ед. хр. 11, лл. 103—104; стр. 233 — ед. хр. 11, лл. 104 об., 105 об.; стр. 233—235 — ед. хр. 11, лл. 105—106 об.; стр. 235—236 — ед. хр. 11, лл. 88 об., 90, 89 об.; стр. 236—240 — ед. хр. 11, лл. 90—93, 94—94 об.; стр. 241—242 — ед. хр. 11, лл. 95—95 об., 96 об.; стр. 242—243 — ед. хр. 11, л. 107; стр. 243—259 — ед. хр. 11, лл. 109, 110—113 об., 114, 115—120 об., 121 об.; стр. 259—262 — ЛБ, 8/4; стр. 262—264 — ед. хр. 11, лл. 122—123; стр. 264—265 — ед. хр. 11, лл. 106 об., 107 об.; стр. 265—272 — ед. хр.

11, лл. 130, 131—135; *стр.* 272—274 — ед. хр. 11, лл. 20—20 об., 21, 22, 21 об.; *стр.* 274—276 — ед. хр. 11, лл. 130, 138 об.; *стр.* 276 — ед. хр. 11, лл. 19 об., 23, 22 об.; *стр.* 277—280 — ед. хр. 11, лл. 4, 7, 8 об.; *стр.* 280—281 — ед. хр. 11, лл. 9—9 об., 14 об.; *стр.* 281—284 — ед. хр. 11, лл. 23 об., 130, 24—24 об.; *стр.* 284—285 — ед. хр. 11, л. 25—25 об.; *стр.* 285—286 — лл. 26, 27—27 об.; *стр.* 286—294 — лл. 28, 30, 31 об.—33 об., 28 об.—29 об.; *стр.* 294—311 — ед. хр. 11, лл. 34—44 об.; *стр.* 311—314 — ед. хр. 11, лл. 46, 45—45 об., 46 об., 47; *стр.* 314—318 — лл. 47—48 об.; *стр.* 318—320 — ед. хр. 11, лл. 49, 50; *стр.* 321—325 — ед. хр. 11, лл. 51—52 об.; *стр.* 325—327 — ед. хр. 11, лл. 58—62; *стр.* 327—332 — ед. хр. 11, лл. 53—55 об.; *стр.* 332—333 — ед. хр. 11, лл. 56—57; *стр.* 333—336 — ЛБ, 8/2; *стр.* 336—340 — ЛБ, 8/3; *стр.* 340—342 — ЛБ, 8/4; *стр.* 342—343 — ед. хр. 11, л. 68—68 об.; *стр.* 343—346 — ед. хр. 11, лл. 63—66, 59 об.; *стр.* 346—350 — ЛБ, 8/5; *стр.* 351—355 — ЛБ, 8/6; *стр.* 355—360 — ЛБ, 8/8; *стр.* 360—364 — ЛБ, 8/9; *стр.* 364—368 — ЛБ, 8/10; *стр.* 368—370 — ЛБ, 8/7; *стр.* 370—373 — ЛБ, 8/12; *стр.* 373—375 — ЛБ, 8/18; *стр.* 375—376 — ЛБ, 8/13; *стр.* 376—379 — ед. хр. 11, лл. 69—70 об.; *стр.* 379—382 — ЛБ, 8/13; *стр.* 382—384 — ЛБ, 8/17; *стр.* 384—385 — ЛБ, 8/15; *стр.* 385 — ЛБ, 8/14; *стр.* 385—387 — ед. хр. 11, л. 71—71 об.; *стр.* 387—388 — ЛБ, 8/14; *стр.* 388—391 — ЛБ, 8/11; ед. хр. 11, л. 71 об.; *стр.* 391—395 — ед. хр. 11, лл. 72—74; *стр.* 395—399 — ЛБ, 8/16; *стр.* 399—401 — ед. хр. 11, лл. 84 об., 73 об., 75—75 об.; *стр.* 401—408 — ед. хр. 11, лл. 81 об.—84 об., 73, 85—87; *стр.* 408 — ЛБ, 8/19; *стр.* 408—411 — ЛБ, 8/21; *стр.* 411—414 — ЛБ, 8/20; *стр.* 414—419 — ЛБ, 8/23; *стр.* 419—424 — ЛБ, 8/22; *стр.* 424—432 — ЛБ, 8/24; *стр.* 432—434 — ИРЛИ, ф. 100, № 29449ССХ6. 5.